Сердце бога

Автор:
Анна Литвиновы

Сердце бога

Анна и Сергей Литвиновы

Высокие страсти #2

Виктория Спесивцева поняла – она не сможет жить дальше, пока не переломит несчастливую карму своей семьи. Ее мама никогда не выходила замуж, такая же судьба постигла и бабушку… С бабушкой вообще случилась трагическая история: едва родив, Жанна Спесивцева оставила ребенка родственникам и отправилась в Москву. Там она активно искала будущего мужа, пока ее поиски не остановили ударом ножа… В конце пятидесятых разворачивалась захватывающая гонка двух сверхдержав: СССР очень хотел опередить США и первым отправить человека в космос. В эпицентре звездного соперничества оказался молодой инженер Владислав Иноземцев. С головой погрузившись в работу, он тщетно старался забыть о том, чем закончилась та злополучная вечеринка, на которой присутствовали его жена Галя и ее подруга Жанна…

Анна и Сергей Литвиновы

Сердце бога

© Литвинов С.В., Литвинова А.В., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Нашим родителям посвящается

Наши дни

Город Москва, столица России

Агент Сапфир

Теперь не прежние времена. Совсем не то что с Марией – сколько тогда было предосторожностей при каждой встрече! Сейчас мы с Лаурой можем контактировать совершенно свободно – почему нет? На людях? – пожалуйста! Ходим с ней куда угодно. В кафе, рестораны. Были в Кремле, в Коломенском, на Воробьевых горах. Посещали Большой театр и «Современник». Хаживаем в кино – смотрим новые фильмы на английском.

Это потому, что удачно проработана легенда прикрытия. Лаура – американка, учительница английского, носитель языка, поэтому ее с распростертыми объятиями встретили на частных курсах «Ап ту Инглиш». Ей двадцать шесть – примерно как было мне в те баснословные года, когда мы познакомились с Марией.

Лаура ведет шесть групп – детей, подростков, взрослых. Плюс дает частные уроки: официально, с оплатой через бухгалтерию курсов – в том числе мне. Вот совершенно легальное обоснование для того, чтобы встречаться дважды в неделю. Остальные свидания обосновываются тем, что мы якобы подружились. Да мы и вправду подружились.

Я называю Лауру Ларой, в память о «Докторе Живаго». Она не возражает. Романа она (как и его хулители прежних дней) не читала, но кино любит. Вдобавок ей нравится, когда я декламирую ей по-русски стихи Пастернака.

Продумано, зачем мне на склоне лет вдруг потребовался инглиш: янки прислали приглашение разобрать и прокомментировать документы, относящиеся к начальному периоду советской пилотируемой космонавтики. Документы хранятся в аэрокосмическом музее и Смитсоновском институте, в Вашингтоне, округ Колумбия, – американцы много их нахапали у нас в период безвременья,

в начале девяностых. Поездка моя состоится через полгода, а пока я пользуюсь случаем подтянуть язык.

Иногда я рассказываю Лауре-Ларе байки из своего прошлого, из жизни космического конструктора, – то, что за давностью лет утратило статус строгой секретности. Например, как разбился советский пилотируемый корабль «Союз-один», в котором находился первый официальный мученик отечественной космонавтики, прекрасный парень Виктор Комаров. Тогда не открылись тормозные парашюты, и спускаемый аппарат с такой силой ударился о казахскую степь, что образовал воронку в несколько метров, а потом вдобавок загорелся. Все, что осталось от пилота, – небольшой обгорелый, спекшийся брусок. Потом фильм с кадрами этой жуткой обгорелой плоти показывали всем кандидатам на новый космический полет. Спрашивали: «А теперь вы по-прежнему хотите лететь в космос?» Но никто не отказывался.

Лара, когда я предаюсь подобным воспоминаниям, содрогается: «Какие жертвы! Ради чего?! За что они погибли? Зачем сгорел ваш Комаров? И задохнулись трое других русских, в семьдесят первом году, после экспедиции на станцию «Салют»? И два наших «шатла» взорвались?! Двенадцать сгоревших заживо? Зачем?! К чему все эти жертвы?!»

Я отвечаю ей: «Странно слушать подобные речи от человека, который постоянно пользуется спутниковой навигацией. И регулярно звонит к себе на родину за океан – по космическим каналам связи. И смотрит по спутниковому телевидению любимый Ю-Эс-Оупен в прямом эфире».

– Я отдала бы все эти блага за единственную слезинку ребенка (про которого писал ваш Достоевский) – того, который оплакивал отца, ушедшего в полет и не вернувшегося.

Я вздыхаю.

– То был выбор самого отца. Ведь дело не только в спутниковой тарелке и прочих гаджетах. Космонавты и астронавты гибли не ради нашего комфорта. Они стремились, как сыны человечества, выше и дальше – за горизонт.

– По-моему, те, кто запускал первые спутники и летал на них, о высоких материях не думали, – возражает она. – Вы, советские, мечтали утереть нос нам,

американцам. А мы – вам.

– Конечно, соревнование между двумя системами сыграло огромную роль в покорении космоса, – соглашаюсь я.

– А еще – девяносто процентов всех полетов, и наших, и особенно ваших, имело военное значение.

– Может, и девяносто, – поддерживаю я. – А может, и больше. Или меньше. Но благодаря тем полетам и тому, что с орбиты оказались видны пусковые комплексы ракет, не случилось третьей мировой войны. А мы ведь долго балансировали на самом краю. Ба-бах, по паре бомб и ракет с каждой стороны – и сейчас на месте моей Москвы и твоего Чикаго была бы радиоактивная пустыня.

Так мы препираемся с ней порой битый час. Я изо всех сил защищаю дело всей своей жизни – космос. Дискутируем мы на английском – она, великодержавная шовинистка, русского принципиально не учит, знает только пару слов: «да», «спасибо», «дайте, пойд-жай-луйста» и «маршръютка».

Но надо отдать должное Лауриным кураторам из Лэнгли: общаться мне с ней интересно, даже подобие дружбы образовалось, и в те дни, когда мы не видимся, я начинаю по ней скучать.

Город М. (областной центр), Россия

Виктория Спесивцева

Недавно я поняла – ясно, как «Отче наш», – что не смогу жить и двигаться дальше до тех пор, пока не разберусь с проблемами моей собственной семьи. Пока, образно говоря, не пересдам карты. Не переменю, не перелицую собственную карму.

Ведь если семья вдруг несчастлива – это тянется долго. Порой – всегда. Обычно в неполных семьях вечно рождаются девушки. И каждая последующая словно повторяет судьбу своей матери – как мать, в свою очередь, воспроизводила карму бабушки. Сколько таких историй вокруг! Впечатление, что зависла над

фамилией черная туча и все идет наперекосяк: девушки никак не могут выскочить замуж, а если вдруг выходят, ничего не получается с детьми. Или, наоборот, происходит залет – но безо всяких надежд на то, чтобы расписаться. Не успевает она увидеть две полосочки – а милого р-раз, и след простыл. Или, напротив, она обвенчана, и ей, после титанических усилий, удается забеременеть – и тут благоверный открывает свое истинное лицо: оказывается подлецом, или гулякой, или гулящим подлецом. Он съезжает с квартиры, и исчезает с горизонта, и не показывается, не звонит, не пишет, и даже не платит алиментов.

При любом варианте исход один. Молодая женщина брошена, ее дитя (обычно, как нарочно, девочка) болеет, ей ставят клеймо «несадовская» – и что прикажете делать, если необходимо ребенка лечить и поднимать, а ты одна и помощи ждать не от кого? Нанимаются няньки, и они оказываются алчными, глупыми, а самое главное – не любящими детей, и однажды это обстоятельство вскрывается (например, мамаша случайно видит, как воспитательница остервенело лупит дитятку). Разражается страшный скандал, мамку выгоняют, после долгих и отчаянных поисков находят другую, которая оказывается не лучше, чем предыдущая, а только хуже… Наконец, ребенка (девочку) дотягивают до школы, однако уроки ей не даются, она связывается с дурной компанией – портвейн, а то и клей со спайсом? – и классная руководительница вместе с участковым становятся в несчастной семье постоянными гостями… И такая дребедень (как писал Корней Чуковский) длится не то что целый день, а годы и поколения напролет.

Девочка вырастает, становится мамой, и у нее, в свою очередь, жизнь идет наперекосяк. Она тоже превращается в брошенку, растит в неполной семье дочурку – и та в точности копирует судьбу матушки: разбитая любовь, нежданная беременность, роды и дальнейшее воспитание в одиночку. А потом и третье поколение, глядишь, на подходе – и в нем тоже, словно плеер поставлен на бесконечный «repeat», возникают: мать-одиночка, отчаянный дефицит денег и любви, постоянная нехватка сильной руки и крепкого плеча.

Вот и наша семейка. Ведь я Спесивцева не по отцу – по матери. Мама моя никогда не выходила замуж. Мужчины в ее жизни, разумеется, имелись. В том числе мой отец. А вот мужья – нет. Равным образом и бабушка моя замужем никогда не состояла. А если прибавить сюда судьбу прабабки Елизаветы, которая потеряла супруга в годы репрессий, и ее сестру, пратетку Евфросинью, умершую старой девой, – наследственность моя окажется очень

настораживающей.

Вот потому-то я и решила: карму нашего семейства следует коренным образом изменить. Я просто кожей почувствовала: пора! Тем более что после шести месяцев совместного проживания мой бойфренд Ярик сделал мне официальное предложение. И я ответила, что принимаю его руку и сердце – но только ровно через год, в течение которого я надеялась выправить собственную судьбу и жизнь моих наследников – пусть многочисленным будет их племя, во веки веков!

Я считаю, что женские невзгоды, растягивающиеся на десятилетия и передающиеся из поколения в поколение (бабка – мать – дочь – внучка), начинаются с одного случая. В определенный момент господь (видать, глобально прогневавшись на семейку) обламывает ее, и потом она не поднимается, дрейфуя меж двух состояний: «плохо» и «очень плохо».

Размышляя над линией судьбы нашего семейства, над ее траекторией, я нашла, кажется, точку перелома (как говорят знатоки высшей математики). А если выражаться по-простому – облома. В нашей фамилии облом-перелом случился в конце пятидесятых – с моей бабушкой Жанной Спесивцевой. Вот только не знаю пока, какой конкретно момент ее короткой биографии следует считать поворотом на пути нашей семьи к кармическим невзгодам: то, что она родила, безмужняя, в возрасте семнадцати лет? Или спихнула ребенка (мою будущую матерь) на прабабку Елизавету и бросилась в Москву поступать в вуз? Или то, что в столице слишком активно искала мужа, кочуя из постели одного красного молодца к другому? Или когда ее поиски остановили – в октябре пятьдесят девятого ударом ножа в самое сердце?

А дальше в жизни семьи происходило следующее: мать моя, Валентина Дмитриевна Спесивцева, тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года рождения, продолжала расти сиротинушкой. Воспитывалась попечением собственной бабушки (моей прабабки) Елизаветы и ее родной, бездетной и безмужней сестры-погодка Евфросиньи. Взращивали бабки внучку исключительно правильно, в строгих традициях – пятерки в дневнике, участие в учебных олимпиадах и посещение музыкальной школы. Парням и дурным компаниям воли маман не давала. На танцульки не бегала. В турпоходы или на школьные экскурсии по родной стране ее две строгих бабки-воспитательницы не пускали.

В семьдесят первом мать моя Валентина поступила на истфак нашего областного педвуза. Была даже выбрана комсоргом курса – но потом вдруг, отучившись два года, взбрыкнула: я, мол, не хочу быть скромной учителкой, ждет меня и манит иная стезя – журналистки, писательницы, путешественницы, международного обозревателя или телевизионного ведущего! Откуда взялась тогда эта фантазия, мамахен не рассказывала. Чего она тогда начиталась? Чего насмотрелась? Был ли это фильм «Журналист»? Или книга «Остановиться, оглянуться»? Или заграничный бестселлер «Вторая древнейшая профессия»? А может, на нее подействовала телепередача «Международная панорама»: «Солнце сияет над крышами Парижа, но это не радует простых французов: инфляция, безработица, безудержный рост цен…» Короче, в один прекрасный день моя юная матерь Валентина Спесивцева вдруг забрала из тихого областного «педика» свои документы и рванула в Москву, поступать на журфак. И – благополучно провалилась. Она ведь даже не ведала, что требовалось иметь публикации, писать творческое сочинение… Но, видать, отрава вольной жизни глубоко проникла тогда в ее кровь – а может, подействовали сладкие миазмы вечно молодой и суетной Москвы. Сказался и мамашкин деятельный темперамент, и общительность, и, чего греха таить, еще не осознаваемая ей самой, но крепко бьющая в парней сексуальность.

Так или иначе, родительница моя приняла решение домой не возвращаться. Она осталась в Белокаменной и крепко скорешилась с журналистской средой. Ведь столичную окологазетную плесень хлебом не корми, дай повоображать, пофорсить – оказать содействие рвущейся в профессию провинциалке, да прехорошенькой.

Шли застойные семидесятые. От времен мамашкиного покорения Москвы остались десятки разноформатных черно-белых снимков, сделанных профессионалами разного уровня мастерства (одна фотка – чуть ли не самим Плотниковым): продуманный фон, поставленный свет, а остальное доигрывала мамина прекрасная внешность: глаза, широко распахнутые, полные юного провинциального наива. Ее, как она впоследствии рассказывала, в купальнике и даже «ню» подбивали сниматься – однако времена были жестче нравом, чем сейчас, за изготовление «порнухи» (а фотка «без верха» запросто подпадала под категорию порно) можно было и за решетку угодить, поэтому Валентина моя Дмитриевна на подобные предложения не велась. В картонной папке с тесемками, посвященной ее молодости, среди отпечатков на фотобумаге сохранились две пожелтевшие вырезки – из газет «Советская промышленность» и почему-то «Воздушный транспорт». На обеих – изображение улыбающейся мамы, одна карточка – под рубрикой «Фотоэтюд. Молодость», вторая – «Юное

поколение Страны Советов».

Но столичные журналисты любовались мамочкиной блистательной внешностью недаром. Она и сама оказалась не промах по части обустройства собственной жизни. Ее (как тогда называлось – по блату) пристроили учетчицей в отдел писем газеты «Советская промышленность». Во времена СССР (как она мне рассказывала) газеты уделяли постоянное и неусыпное внимание письмам трудящихся. Любое послание – графоманский бред, анонимный навет, слезная жалоба, малограмотный кроссворд, восторженный отклик, – присылаемое гражданами Страны Советов в адрес любого издания, регистрировалось в амбарных книгах, а затем передавалось конкретному сотруднику редакции для содержательного ответа или дальнейшей пересылки в адрес советских, партийных, профсоюзных и комсомольских инстанций. Требовалось ни одно письмо, ни в коем случае не потерять и на каждое ответить, да в срок и со всею положенной вежливостью.

О том, насколько важны были для тогдашних СМИ читательские послания, свидетельствует одна из баек, рассказанных матерью. В газете «Советская промышленность», где она служила, проводили ленинский коммунистический субботник. Фактически это означало генеральную уборку помещений – с мытьем окон и выкидыванием из столов и шкафов ненужного барахла. Мусор и старые рукописи обычно складывали в крафт-мешки и впоследствии вывозили на свалку. Пикантность ситуации состояла в том, что письма читателей, приходившие в газету, обычно привозили с почты в точно таких же мешках. (Кстати, именно такими дозами – мешками каждодневно! – исчислялась в ту пору читательская корреспонденция.) И вот, под сурдинку, вместе с барахлом, во время субботника из отдела писем «Советской промышленности» выкинули два мешка с еще не распечатанными читательскими эпистолами!

Редактор отдела писем – облезлый сладкогубый Борис Исидорыч Костышевский – чуть с ума не сошел от ужаса и горя. Потерять два мешка читательской корреспонденции! За такое можно было запросто партийный билет на стол положить и тепленького редакторского места лишиться! Борис Исидорыч немедленно схватил такси и бросился на свалку. Там он принялся щедро раздавать направо-налево мелкие купюры, и местные работяги к концу дня отыскали пропажу. И заверили, что ни одного письмишка не пропало! В редакцию Борис Исидорович вернулся пьяноватый и торжествующий, с мешками в обнимку – даже в багажник таксомотора положить их не решился, ехал вместе с ними на заднем сиденье.

Костышевский царил в своем отделе писем среди юных учетчиц – низшей редакционной касты с окладом девяносто рублей. Девушки занимались всей рутиной, начиная от распечатывания конвертов, регистрации писем в амбарных книгах, первичного прочтения и росписи (то есть распределения) по отделам редакции. Учетчицами служили, как правило, непоступившие абитуриентки или студентки-вечерницы журфака. Было их не менее пяти в самой завалящей отраслевой газетенке, и они сильно оживляли хмурый журналистский пейзаж, являлись костяком местных комсомольских организаций и немало скрашивали производственный процесс заматерелым дядям-корреспондентам. Учетчицы бывали, как правило (если судить по моей маме), прехорошенькие, а ежели нет, то хотя бы молодые. Поэтому киты и асы журналистики в обмен – кто на поцелуй, кто на бутылку, а кто и на отношения – учили юных коллег уму-разуму. И девчонки перелопачивали письма рабкоров с периферии («Первые тонны продукции выдала саратовская обойная фабрика к юбилею Октября») и учились писать собственные «информашки».

Мамаша моя Валентина Спесивцева с азартом включилась в жизнь редакции. Вскоре и деньжата у нее появились, и комнату в коммуналке, в самом центре Москвы, на улице Кирова[1 - Теперь Мясницкая.], она приспособилась снимать. Вдобавок за год у нее накопился портфель заверенных ответсеком публикаций, предъявив которые маманя благополучно поступила на журналистику на вечерку.

Дальнейшая ее столичная жизнь впрессовалась в аршинный альбом вырезок из газет – именно так в прошлые, бескомпьютерные времена вели журналисты личные архивы. Я пару раз перелистывала альбомище – порыжелые от времени и клея страницы. Заметки матери постепенно становились все больше, все крупнее делались заголовки. А стиль статей не менялся, оставался в рамках дозволенного: «…В речи генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на заседании Политбюро ЦК КПСС… Тысячу рублей перечислила в Фонд мира бригада мебельщиков… Декадником работа молодых по укреплению берегов малых рек, конечно, не ограничивается…»

Однако мамочка моя была совсем не бесталанна, потому прорывались в ее статьях и ирония, и сарказм, и гнев:

«В проходной пропуска у меня никто не спросил. Впрочем, обычное требование прозвучало бы в данном случае насмешкой, потому как в двадцати метрах в бетонном заборе – дыра, в которую не то что человек пройдет, грузовик

проедет…

…У хозяйственного магазина чернела очередь, и продавщица в синем халате поверх телогрейки выкрикивала: Эй, крайние! Не занимайте! Туалетка кончается!..»

…С этой столовой у меня были личные счеты. Два года назад, будучи на М-ском комбинате, я рискнула в ней пообедать. А теперь…»

За страницами старинного альбома оставалась неописанная ее молодая столичная жизнь: сессии на журфаке; командировки по доживающей последние годы Стране Советов; газетная карьера – рост от учетчицы писем до старшего корреспондента; гулянки в редакции; любови, влюбленности, романы, романчики; антисоветские анекдоты и книги «Посева», размноженные на ротаторе; коммунистические субботники, заканчивающиеся общей пьянкой и поцелуйчиками по углам – а то и чем покруче на съемных квартирах.

После одного такого коммунистического субботника мамаша моя оказалась беременна мною. Ей тогда минуло тридцать. Шла средина восьмидесятых. Мужа до той поры у мамы не сыскалось. Череда сменяющих друг друга возлюбленных по разным причинам (в основном из-за своей непроходимой женатости) в супруги также не годилась. В ту пору, если безмужние женщины переступали тридцатилетний барьер, в их сердцах словно закипала гремучая смесь: мой поезд уходит и надо хоть как-то его остановить! Пусть даже безнадежно отдать на заклание собственную молодую жизнь – но хоть что-то ухватить, уцепить! Если не супруга, то хотя бы ребеночка! Мою мать также не миновала сия горячка. После нескольких, почти случайных, коитусов с моим будущим отцом она забеременела и решила: буду рожать!

Моим батей оказался, на счастье, далеко не самый худший представитель мужского рода. Им стал тогдашний политический обозреватель «Советской промышленности» и член партбюро газеты Виктор Ефремович Шербинский, импозантный мужчина в импортных пиджаках и шейных платках, на двадцать пять лет старше матери, дважды женатый и отец двух дочерей, по возрасту годящихся моей мамочке в сестры. Он сразу, узнавши, что мама забеременела, проявил себя как благородный человек. Сказал ей: супругу свою я не люблю, однако мне светит долгосрочная командировка в Париж, и потому совсем не пристало затевать семейные дрязги. Давай, когда я вернусь из столицы моды и вина, года через три, мы вернемся к разговору о моем разводе и последующей

женитьбе? Однако в любом случае ребенка я твоего будущего признаю, стану помогать тебе, сколько сил и здоровья хватит. Я позабочусь, чтобы у нашей дитятки все было – да лучше, чем у иного законного.

Мать повелась на сладкие речи политобозревателя, и с декабря одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого по июнь тысяча девятьсот восемьдесят седьмого наступает перерыв в ее публикациях, тщательно вклеенных в альбом с логотипом «Советская промышленность». Причина уважительная: декретный отпуск по случаю рождения меня. Отец мой, Шербинский – в ранней юности я это чувствовала, а незадолго до мамочкиной смерти узнала доподлинно, – обещаний своих не нарушил. Или почти не нарушил. В Париж со старой супругой убыл, однако мамуле изыскивал возможность помогать: невиданными для советских детей комбинезончиками, игрушками, молочными смесями, подгузниками фирмы «Памперс». Кружными путями, через верных людей, доходили папашкины передачки из столицы Франции до нашего областного центра. (Ведь как я родилась – мамуля обратно на родину мигрировала: под крылышко моей боевой прабабки Елизаветы и пратетки Евфросиньи.) Вдобавок в течение полутора лет родительница моя исправно получала от социалистического государства на мое прокормление семьдесят рублей ежемесячно плюс пенсии прабабки и пратетки. Тогда в СССР на эти деньги запросто можно было жить, да неплохо. Плюс регулярные презенты от отца – нашему женскому коллективу из четырех душ на пропитание и одежку хватало.

Оттрубив три года на родине Гобсека и Жоржа Дюруа, папаша мой ломать свою жизнь и делать мамаше предложение не стал – тем более ему светил новый срок в корпункте неподалеку от площади Звезды. Я осталась, как и следовало ожидать, в женском царстве: при мамке, прабабке и пратетке.

Вскоре я взросла до полутора лет, и собес прекратил платить детское пособие. И тогда мамаша оставила меня в М. на прабабку с сестрою и заново бросилась в Москву. Она повторяла свой первый побег в Белокаменную или убегание моей бабки Жанны Спесивцевой в столицу мира и социализма в середине пятидесятых.

Третья серия сериала «В Москву! В Москву!» в исполнении нашей семейки в конце восьмидесятых завершилась менее трагедийно, чем самая первая, хотя тоже весьма драматично – потому-то маме через два года снова пришлось вернуться в родные пенаты. (Но о том, что произошло с ней в Белокаменной в промежутке между восемьдесят восьмым и девяностым годом, я узнала

гораздо позже, через двадцать лет.) А пока, в возрасте четырех годков, просто дико радовалась своею щенячьей детсадовской радостью, что мамочка вернулась и больше не собирается никуда уезжать.

А мамаша моя в ту пору переживала тяжелые дни. После испытаний, которым она подверглась в Москве (о них речь впереди), кляла, в одиночку и с местными друзьями, «партийную продажную свору» и «сиятельных лжецов, врагов перестройки».

Это не помешало ей устроиться в местную областную газету – шестнадцать лет стажа в центральной «Советской промышленности» послужили лучшей рекомендацией. Областные оппозиционеры заглядывали ей в рот – еще бы, штучка на крыльях ветра перемен прибыла из самой златоглавой! И мама повелась на сладкие речи и медовые посулы доморощенных газетных либералов, организовала протестное движение против самого главного редактора и обкома партии. Но вскоре случился путч девяносто первого года, обком партии приказал долго жить, а прогрессисты возглавили редакцию областного «Большевика», переименовали его в «Губернские ведомости» и дали маме самую хлопотную должность ответственного секретаря.

Довольно быстро выяснилось, что времена безнадежно изменились, и если раньше партия безропотно обеспечивала газету всем необходимым, начиная от бумаги и междугородней связи по сверхрочному тарифу «пресса» и кончая «газиками» для разъезда по районам, то теперь изданию понадобилось все перечисленное покупать. А для того – газету продавать, причем и читателям, и рекламодателям. А сего никто из новоявленных руководителей не умел. Пошли между ними раздоры, в результате которых мою мамахен, аккурат во времена второго путча девяносто третьего года, выкинули из «Ведомостей» с самыми жесткими характеристиками, чуть ли не растратчицы и воровки.

Тут началась у нас тяжелая жизнь, и ее я своим детским умишком помню: как выпрашивала у мамочки купить хотя бы «Баунти» и как мне хотелось новое платьице или прекрасную золотоволосую Барби (о которых я даже боялась заикнуться). Существовали мы тогда фактически на пенсии двух девяностолетних столпов семьи: прабабки Елизаветы и пратетки Евфросиньи. Вдобавок вскапывали огород, окучивали, боролись с колорадским жуком – и к зиме собирали мешков пять картошки, которые сосед дядя Вова затаскивал к нам на второй этаж. Хранили на застекленном балконе. После подъема картофеля мама с дядей Вовой тогда распивали разбавленный смородиновым

соком спирт «Ройяль».

Однако потом, как я помню, маманя повадилась в Москву. Выезжала она туда с частотою раз в два-три месяца. Заблаговременно, чуть не за неделю, переставала пить, а курить старалась совсем мало. Начинала хорошо пахнуть, почти как в детстве, шла к подружке в парикмахерскую делать прическу и маникюр – и, наконец, отбывала. Возвращалась дня через три, одновременно до ужаса расстроенная и до высокомерия довольная. Привозила долларов около пятисот. Баловала меня купленными на вещевом рынке в «Лужниках» обновками. Из окольных разговоров прабабки Елизаветы с пратеткой Евфросиньей я вскоре своим шпионским детским умом выведала, что маманя ездит в столицу к моему собственному отцу – и деньги привозит от него для моего содержания. Потом, став взрослой, я узнала, что папаня, Виктор Ефремович Шербинский, лишился в девяносто первом должности руководителя корпункта в Париже по причине его окончательного закрытия – однако, со своими связями и умениями, для новой, капиталистической жизни не пропал. Стал переводить с английского, французского и даже итальянского и продавать вновь открывшимся в столице издательствам детективы: Чейз, Буало – Нарсежак, Микки Спиллейн, Андреа Камиллери, Жорж Сименон… Усвоив информацию, что у меня в Москве имеется отец, и он даже снабжает нас «зеленью», я начала приставать к мамуле, чтобы та меня к нему свозила. С юных лет я обучалась дипломатии и знала, что к мамке следует приступать, когда она находится в правильном настроении: ласковом и благодушном – каковое наступало после принятия трех-четырех рюмок. Если подлезть к ней раньше, до возлияния или сразу после первой стопки, она могла оказаться суетливой, нетерпимой и агрессивной; если позже – излишне требовательной или высокомерной. Мама обещала свозить меня к отцу, забывала, снова обещала – и, наконец, в возрасте одиннадцати лет почти торжественно взяла с собой в Белокаменную.

И Третий Рим, и папаша произвели на меня, девочку, впечатление, почти одинаково сильное – но каждый особенное в своем роде. Столица ухнула на меня свежевымытостью фасадов и тротуаров, ровностью дорог, дороговизной автомобилей и вечерней подсветкой архитектурных сооружений – ничего подобного даже близко не имелось в нашем областном центре, где царствовал тогда базарный ларек. Отец показался престарелым, словно дедушка, – мама шепнула, что через год ему исполняется семьдесят, однако насколько он был вальяжен, прекрасно одет, пострижен! А его изысканные манеры! Бархатный голос с легкой хрипотцой! Обволакивающий взгляд! Точь-в-точь граф или миллионер из французского или американского фильма! Впоследствии я,

конечно, поняла, что тогда, в девяносто седьмом, папаша если и тянул на титулованную особу или миллионщика, то сильно поистершегося и пустившего на ветер почти все свое состояние. К примеру, ездил он на иномарке – но то была автомашина «Пежо-309» пятнадцатилетней давности; царственно обращался с официантами – однако приглашал не в «Прагу» или «Ностальгию», а всего лишь в «Елки-палки». И не в Большой театр или МХТ водил нас с маманей, а в кинотеатр «Кодак-киномир» – но мне и того хватало: тогда в «Кодаке», первом российском кинотеатре нового времени, с долби-стерео-сэрраунд, мы смотрели не что-нибудь, а «Титаник». И образ моего величественного отца странным образом переплетался в девических фантазиях с великосветскими героями фильма-трагедии. Вдобавок после кино папаня, как положено главе настоящей династии, давал при мне отповедь моей сорокатрехлетней мамаше – прямо за столиком «Елок-палок»:

– Ты на себе крест поставила, Валентина? Стыдоба! Так и будешь торговать в палатке на рынке? (А мамаша и впрямь зарабатывала тогда себе на хлеб насущный за прилавком.) С твоим умом? С твоим пером?! Фантазией и талантом?!!

– А что мне делать? – защищалась она, не стесняясь меня в выражениях. – В газету назад идти? Жопу новому губернатору лизать?

– Ну зачем же? – величественно грохотал отец. – Я дам тебе хорошую работу. Станешь переводить английские любовные романы. Да, платить будут немного, долларов двести за семь-восемь авторских листов, зато строчить можно гладко-гладко, не включая мозг. Совершенно прозрачная лексика: «он нежно коснулся ее руки, и внутри нее все затрепетало».

– Да я английский давно позабыла! Я ведь не ты – кроме как с нашей англичанкой в универе, ни с кем сроду на языке вживую не говорила.

– А зачем тебе язык?! Уловила общую канву – и понеслась! И перестань, я тебя прошу, столько пить. Настоящая леди не должна пить водку – это напиток простонародья.

– Тогда закажи мне то, что должна пить настоящая леди! Хотя бы коньяк, – хохотала она.

Я редко когда видела мать такой счастливой, как во время нашей встречи с отцом. Теперь-то понимаю: она просто любила его – несмотря на преклонный возраст и то, что он принадлежал другой. А когда мы возвращались на поезде в М. и мама находилась в подходящей кондиции для откровений, я спросила у нее, почему мы не можем жить постоянно вместе с батей, и она поведала о двух взрослых дочерях Шербинского и пятерых его внуках и внучках. Правда, сказала мать, его жена всегда была современной, понимающей женщиной, почти как настоящая француженка. Супружница Виктора Ефремовича знала о его отношениях с матерью, о моем существовании и о том, что отец помогал нам материально. А теперь, по секрету шепнула мать, супружница его плоха и, возможно, в скором будущем он овдовеет, и тогда…

Однако сроками жизни – равно как и многими прочими земными вещами – распоряжается только бог. Это я поняла уже тогда. Люди, конечно, тоже в состоянии повлиять друг на друга – особенно в случае, когда они друг друга любят.

Я это к чему? После той поездки в столицу мать и вправду вытащила с полатей свою старую пишущую машинку, вызвала дядю Вову, чтобы он почистил, починил и смазал ее, и принялась по ночам, в своей спальне, за низким и неудобным туалетным столиком, толмачить аглицкие любовные романы в розовых обложках. Она прикуривала сигарету от сигареты, и худое испитое лицо ее бывало вдохновенным.

После первого гонорара, за которым она съездила к папашке в Москву, мать бросила работу в палатке на рынке, купила подержанный компьютер и вся отдалась стихии любовного романа.

В преддверии нового тысячелетия, наконец, случилось то, чего подспудно ждали и боялись мать и взрослеющая я: скончалась девяностодвухлетняя тетка Евфросинья, а вскоре, не прошло и двух месяцев, и моя прабабка Елизавета. Несмотря на то что уходы эти были ожиданными, да и прожили старухи дай бог каждому, их смерти сильно подействовали на маму. Она сделалась плаксивой, разражалась слезами чуть ли не по любому поводу и стала все чаще прикладываться к бутылке – даже в ходе своей переводческой работы (чего ранее за ней не замечалось). Но теперь она стала говорить, что алкоголь дарит ей вдохновение.

Новый век и нового президента мы с мамой встретили вдвоем в нашей трехкомнатной квартире. Мне исполнялось четырнадцать, начинался подростковый бунт против старших. Я не выказывала его, старалась быть вежливой и послушной дочерью, – но в душе категорически отметала весь стиль и строй жизни матери. Больше всего мне не хотелось повторить судьбу прабабки Лизаветы (а также ее сестры Фроси). А еще пуще – безвременно, в возрасте двадцати четырех, погибшей бабули, Жанны Спесивцевой. И матери своей Спесивцевой Валентины – которая оказалась, несмотря на все богатые перипетии, в итоге гораздо более несчастной, нежели счастливой. Я, как Базаров из программы десятого класса, решительно отрицала все, что наработали предшествующие поколения, и планировала для себя бытие, решительно не похожее на существование всего нашего женского царства. Своими планами я ни с кем не делилась – но были они для тинейджера сформулированы четко – а главное, как показали последующие годы, практически полностью в итоге исполнились. Я оказалась жесткой девочкой. И по жизни, и по отношению к самой себе.

Даже в четырнадцать я понимала: мне необходимо получить хорошее, но не обременительное образование. Не хотелось учить квантовую физику или гастроэнтерологию. В сложных науках, где успех зависит от количества знаний, мужики в 99 случаях из 100 побеждают. У них больше общий объем запоминающего устройства и выше быстродействие, когда они обращаются к оперативной памяти. Потому они, а не мы, как правило, капитаны воздушных, морских и космических судов и управляют нефтеперегонными заводами. Я не собиралась конкурировать с ними на их привычном поле. Зато мы, девушки, королевны в том, что касается коммуникации. Мы гораздо более эмоциональны и хитры, чем так называемый сильный пол. Мы способны сверкать (если вдруг оно нам надо). А если следует смолчать – мы легко можем прятаться в тень. Нам важнее результат, а не (как у волосатых самцов) страсть подать себя и сокрушить всех врагов. Мы готовы довольствоваться не почестями (как они), а самой наградой – и пусть никто, кроме нас самих, не будет в курсе, что мы ее заполучили.

Размышляя о выборе профессии, я решительно отвергла также те, где работать приходится на рубль, а прибыток получать на копейку, и чтобы выбраться в лидеры и зарабатывать достойно, надо корпеть лет двадцать. Иначе говоря, я изначально исключила для себя вериги учителя, врача, инженера. По тем же причинам – артистки или телеведущей. Не годились мне, по всем вышеуказанным причинам, имевшиеся в нашем облцентре нефтехимический, строительный и планово-экономический университеты.

Что оставалось? Я подумывала о журналистике – но слишком эта профессия, если судить по матери, зависит от того, кто находится нынче у кормила власти (в большом или частном смысле). Партия разрешит – и расцветают «Огоньки» и «Московские новости», как в дни, когда я родилась. А приходит президент, который говорит всем заткнуться, все умолкают в тряпочку.

Иное дело – реклама и маркетинг. Тут тоже действует, конечно, вкусовщина: «Этот ролик мне нравится, а другой – дерьмо». Однако, главное, существуют объективные законы: один прием или слоган продает товар, а другой – нет. А против роста прибыли и продаж никто не вякнет.

А еще, понимала я с юности, человеку следует знать языки. Я слишком хорошо видела, как для моих родителей они в тяжелый момент стали спасательной шлюпкой. К тому же лингвистическая подкованность явно расширяет кругозор и круг общения. Что я имею в виду? Да хотя бы то обстоятельство, что русскоязычных мужиков подходящего возраста в мире проживает миллионов, допустим, пятьдесят. А если ты дружишь с иностранными наречиями, в горизонт твоего рассмотрения добавляются пятьсот миллионов англо-, франко– и испаноговорящих.

Итак, к шестнадцати годам (когда нужно начинать готовиться в вуз) я твердо решила: иду на факультет управления, на маркетинг, и углубленно учу английский с французским. В столицу я ехать не хотела. Миф о том, что все россияне стремятся в Белокаменную, сейчас окончательно устарел. В Первопрестольной житуха и нравы – как в московском метро: толпа, жесткие лавки, все рвутся в первачи и друг друга ненавидят. А я хотела свободы, простора и легкого дыхания.

Вдобавок я не желала расставаться с маманей. Не потому, что она прикрывала меня в М. своим крылышком. Наоборот, я думала: не станет меня подле нее – она ведь запросто может впасть в депрессию и в результате совсем сопьется или сгуляется с каким-нибудь очередным дядей Вовой. Мамаша мой выбор вуза одобрила – правда, съездила в Первопрестольную к отцу. Тот, несмотря на свой пенсионерский возраст, до сих пор оставался на плаву и отсыпал для меня денег на репетиторов. В тот раз маманя вдобавок привезла новую папашкину идею, которую восприняла на ура: не переводить англо-американо-французскую жвачку о любви – а писать самой! Под псевдонимом, разумеется. Мы с ней тут же стали, хохоча, его придумывать: ее имя Валентина, разумеется, превратилось

в «Вэл», а вот фамилия, рифмующаяся со Спесивцевой, с ходу не задалась. Жаль, была занята Джолли[2 - От английского «веселый». Далее обыгрываются другие синонимы к этому слову.]. Чирфулл и Чири слишком походили для русского уха на банальный «чирей». Джовиэл также звучало тяжеловато. Вдруг меня осенило – не зря в английскую школу ходила: пусть мамаша будет Мэрри. Вэл Мэрри, прекрасное английское имя! Вдобавок Мэрри с Мэрридж[3 - От «marriage» (англ.) – женитьба.] перекликается – очень актуально для произведений ее жанра. Я, правда, не напомнила родительнице (а она, возможно, не знала), что merry, кроме как «веселый», означает «подвыпивший». Забегая вперед, скажу, что произведения Вэл Мэрри – всего их вышло свыше трех десятков – стали неплохо продаваться, даже лучше, чем любые оригинальные любовные романчики, написанные натуральными американками, и издатель, как торжественно сообщил мамане отец, повысил ее гонорар до восьмисот долларов за книгу.

А я начала готовиться в универ. Вы, возможно, скажете, что для своих четырнадцати-пятнадцати лет я была чересчур рассудочной. И свои суждения о будущем образовании, скорее всего, выдумала задним числом, когда повзрослела и стала действительно разбираться в жизни. А я вам отвечу: черта с два! Я должна была быть с юности разумной и здравомыслящей, а иначе на что бы я была годна – без отца, без семьи и влиятельных покровителей, с сильно пьющей и неустроенной матерью?!

Еще раньше, чем пришли первые месячные, я сформулировала свой главный постулат относительно мужчин: я никогда не буду в них влюбляться. Никто не сможет меня к себе привязать (как отец, в сущности, привязал мою матерь). Никому не позволю из себя веревки вить! Наоборот, я стану использовать их, этих волосатых самцов, и на смену каждому предыдущему в процессе его эксплуатации буду находить себе последующего. Никто не посмеет меня бросить и тем более унизить. И я ни перед кем не позволю себе унизиться – потому что никого из них не буду любить.

И еще одну вещь, основополагающую для моей жизни, я вывела благодаря наблюдениям за матерью и другими провинциальными тетками, заполняющими дворы и магазины: молодость и красота – это главный капитал, который дается нам, девушкам. Причем совершенно бесплатно. Его господь отсыпает полной горстью: кому в пятнадцать лет, кому – в восемнадцать. Однако этот капитал лежит в нашем банке под отрицательный процент. С каждым годом его становится все меньше и меньше. Независимо ни от чего. Всякий день, месяц

и год, сначала неприметно, злодейка-судьба отщипывает от него по кусочку. В тридцать убывание красоты впервые становится заметно самой женщине. В сорок – тетенька теряет едва ли не половину своей изначальной привлекательности. В пятьдесят, если пустить жизнь на самотек, от твоей прелести останется одна рухлядь.

Поэтому вывод приходилось делать предельно жесткий, но единственно возможный: нельзя, вдобавок к естественному уменьшению, самой транжирить молодость и красоту. Вон, моя маманя: вела себя в двадцать и в тридцать так, словно будет прекрасной и очаровательной целую вечность. (Я по ее рассказам судила, по обмолвкам о том, как она гуляла, переходила из одних мужских рук в другие, пила поганую советскую водку и курила отвратительные советские сигареты.) А теперь гляньте на нее! Ей в начале нулевых было сорок шесть – а выглядела она на все пятьдесят восемь. Склеротические жилки на лице и хриплый кашель – от курения; красные глаза и одутловатость и запах – от спиртного; грубые неухоженные руки; куча морщин – носогубных и окологлазных – оттого, что с юности, отправляясь в кровать и просыпаясь, она больше думала о мужчине, что лег с ней рядом, чем о себе любимой.

Я учту ее ошибки. Я стану трястись над своей молодостью почище Шейлока. Никаких вредных веществ, принимаемых вовнутрь. Жить стану в экологически чистом месте и есть экологически чистые продукты. Буду заниматься спортом: йога, плавание, бег, велосипед. Даже тягать железо стану. Иметь достаточно сна. Делать массажи. Ходить в спа. Ближе к тридцати – начать первый ботокс и подтяжки – разумеется, у лучших косметологов.

А обеспечивать весь этот мой гламур, заботу и уход обязаны будут мужчины. Те самые, каждый из которых будет бояться меня потерять и поэтому станет стремиться отдавать мне как можно больше.

На самом деле привнести свои принципы в жизнь мне было трудно. Особенно первые года три. Я влюблялась в парней, обмирала, растекалась. Меня гнобили подружки за мое табу по части пития, курения и наркотиков. Меня брали на слабо. Мне объявляли бойкоты и пытались учить жизни. Но я выдержала. Пришлось, правда, пойти в добавление ко всем моим занятиям на психологический тренинг. И на дзюдо. Зато теперь несложным самовнушением я могла за два-три дня выбросить из сердца любого незаконно забравшегося туда мужика. А любому стервецу, требующему от меня секса, или стерве, пытающейся растоптать, умела врезать и уйти непобежденной, с гордо

поднятой головой.

И вот теперь, когда я встала на ноги, мне потребовалось разобраться с внутренней кармой нашей семьи, с проклятием, что пало на нас вместе со смертью бабушки – моей юной, не дожившей даже до двадцатипятилетия Жанны Спесивцевой. Я ведь к тому возрасту, когда она, бедненькая, померла, нашла себе место с хорошей и твердой зарплатой и делила ложе с Ярославом, который готов был ноги мне целовать, пылинки сдувать, на руках носить. Однако на пути к торжеству моих принципов меня постигла самая тяжкая в жизни утрата.

Моя мамочка, несмотря на пьянство, взбалмошность, неразборчивость в связях, гневливость и обидчивость, была самой лучшей, самой прекрасной в мире мамочкой. Но понимать это я начала, только когда она заболела, а осознала всю свою любовь к ней и нужность для меня, лишь когда ее, бедненькой, не стало.

Все произошло так ошемляюще обыденно и больно – в самом прямом смысле больно, – что я даже не хочу рассказывать. Все, что касалось ее болезни, я спрятала в тайники своей памяти. Осталось лишь немногое. Ее растерянное лицо, когда она первый раз пришла из поликлиники: «У меня рак. Четвертая стадия». Ее бурные слезы. (И мои.) А потом начался ее уход. Долгий, несмотря на полную предопределенность. Нет, не хочу вспоминать. Вот что я действительно должна вспомнить и записать – наш с нею разговор. Потому что только тогда, подготавливаясь к смерти, мать сообщила мне по-настоящему важные сведения.

2009 год

Областной город М.

Рассказ Валентины Дмитриевны Спесивцевой,

записанный ее дочерью Викторией Спесивцевой:

– Неужели ты думаешь, Вика, что я к бабушке нашей не приставала, где моя мама? И, совершенно понятно, слышала от нее бодягу – соответственно моему возрасту. «Уехала». «Улетела на Луну». «Живет в другом городе». Потом вдруг

она мне поведала: твоей мамы больше нет. Да, рассказала: она жила в Москве и умерла. Мне лет восемь было – значит, начинались шестидесятые. Я взрослой себя тогда считала, поэтому почти сразу все поняла. И поверила. И вера эта была точная и тоскливая: мамочки больше нет. И я ее так никогда и не увижу. Потом, когда росла, не раз приставала к бабке: как мама умерла да почему. Но ты ведь знаешь нашу Елизавету – на нее где сядешь, там и слезешь. А на подробный рассказ бабка расщедрилась, только когда я в Москву от нее сбежала. После того как на «вечерку» все-таки поступила и домой прибыла на побывку. Семьдесят четвертый год был или семьдесят пятый? Тогда старушки так радовались, что я приехала, так радовались! Словно бы не чаяли меня увидеть. Словно бы я из мертвых воскресла. Потом я поняла: это они невольно на меня судьбу мамы Жанны примеряли. Она ведь как умотала в столицу учиться, так и не вернулась. Зато навсегда оставила бабкам гостинчик в моем лице. И теперь они снова подсознательно боялись: вдруг я тоже в Белокаменной сгину.

Мама высоко лежала на подушках в своей комнате. Я сделала ей укол обезболивающего, и оно стало действовать. Чтобы ей бесперебойно поступали нужные лекарства, мне пришлось влюбить в себя врача со «Скорой». Тогда, в возрасте двадцати трех лет, я успела понять: для того чтобы добиваться своего, совершенно не обязательно с мужиками спать. Бывает достаточно их в себя влюблять. Тогда они за поцелуй и ласковое слово готовы совершить для тебя больше, чем равнодушный к тебе самец сделает после самого изощренного секса. Мама за болезнь сильно исхудала и съежилась. Но рассказывала она хорошо – играли роль два десятка лет в журналистике и годы писательства.

– Когда я бабушку Елизавету про мамину смерть стала колоть, она сперва сказала мне, что произошел несчастный случай. Дескать, в тот день, в октябре пятьдесят девятого, в одной квартире в Москве собралась компания. Баловались с оружием. И моя мама убила сама себя. Мне эта история сразу показалась маловероятной, и я стала раскручивать бабулю на подробности. Даже двадцатилетней, только поступив на журфак и формально не став профессиональной журналисткой, я знала, какие вопросики надо задавать и на какие точки собеседника нажимать. Год в отделе писем газеты «Советская промышленность» сказался! Я, как-никак, тогда пару десятков материалов написала, в том числе очерк «Три дороги лесника Федорова» объемом четыреста строк, отмеченный на летучке!.. Вдобавок у меня имелось громадное преимущество перед любым случайным писакой, интервьюирующим собеседника, которого он увидел первый раз в жизни: я знала бабулю как облупленную. И – никуда не торопилась. Мне не надо было спешить, лететь,

сдавать материал в номер. Я могла отойти от бабушки Лизаветы, ночью обдумать вопросы, а назавтра снова начать приставать к ней. И в итоге я выцарапала-таки историю, которая произошла в пятьдесят девятом с бабкой Елизаветой.

Она, разумеется, как только ей сообщили о смерти дочери, сразу бросилась в столицу. И тогда, в Москве, следователь из районной прокуратуры представил ей происшедшее следующим образом: компания вчерашних студентов собралась на квартире у одной из девушек по имени Валерия Кудимова, на праздновании ее дня рождения. Сильно выпили, стали баловаться с оружием, в том числе с наградной шашкой и сувенирными кинжалами из Грузии.

«Жанна Спесивцева, ваша дочь, – рассказывал он, – будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, случайно нанесла себе ранение в область груди. Ранение оказалось столь сильным, что спасти девушку не удалось, и она скончалась до приезда «Скорой». Вскрытие и судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердили картину происшедшего. Вы можете забрать в морге труп для последующих похорон».

«Это выглядело ужасно и звучало невероятно: подумать только, сама себя заколола, балуясь!» – спустя пятнадцать лет говорила бабуля. Она никак не могла поверить в рассказ следователя. И знала, что у Жанночки есть хорошая подружка – Галочка Бодрова. Они весь институт прожили вместе в общежитии, в одной комнате. «Я была знакома с Галей, – продолжала свою печальную повесть бабуля (тогда, в семьдесят пятом), – потому что пару раз приезжала к Жанне в столицу и даже ночевала пару ночей с ними в одной комнате. Галина тогда показалась мне милой и чистой девушкой с сильным характером. И хорошей подругой. В начале пятьдесят девятого, я знала из писем Жанны, Галя вышла замуж и теперь проживала совместно с молодым супругом где-то под Москвой. Я спросила у следователя, присутствовала ли Бодрова на той вечеринке, когда произошел несчастный случай. Он покопался в бумагах и ответил, что да. Я попросила ее адрес – дознаватель без особой охоты сообщил его. Видно было, что он никакой радости не испытывает от перспективы моей с нею встречи – но в то же время понимает, что скрывать глупо: узнать нынешнее местожительство Галочки я, при желании, смогу и без него.

Проживала Бодрова в подмосковном поселке Болшево, а фамилию носила новую, по мужу – Иноземцева. Ехать надо было на электричке, остановок десять с Ярославского вокзала, и я отправилась к ним вечером, решив, что девушка,

скорее всего, днем работает. Определила я верно – она только пришла со службы. Жили Иноземцевы в захудалом съемном домике, похожем на дачу. Галочка, не успев переодеться в домашнее, торопилась затопить печь – комната за день успела выстудиться. Девушка подурнела и потолстела, и я сразу заметила, что она беременна. «Тетя Лиза!» – бросилась она ко мне, обняла и разрыдалась. Потом растопила печь и собрала на стол скромные съестные припасы: вареную картошку, квашеную капусту, докторскую колбасу. Наконец, после нескольких общих фраз, я спросила у нее, как погибла Жанночка. Было видно, что Галя предпочла бы не отвечать на этот вопрос – но, как мне показалось, не только потому, что ей тяжело и неприятно вспоминать. Мне почудилось, что она не вполне со мной откровенна.

Галя поведала мне, что они праздновали день рождения девушки по имени Лера Старостина, по мужу Кудимова, у нее дома. Папа у Леры был важный генерал в отставке, поэтому квартира находилась на Кутузовском проспекте и занимала пять комнат. Родители в тот вечер дома не присутствовали, они специально уехали за город, на дачу, давая молодым возможность порезвиться. Имелась только старая прислуга по имени Варвара. У Леры Старостиной, хозяйки (продолжала рассказывать мне Галя), тоже имелся молодой муж, Вилен. Галя мимоходом заметила, что поговаривали, будто Вилен, вчерашний студент из авиационного, женился на Лере не по любви, а из-за московской прописки и будущего распределения. А на самом деле… (Тут Галочка запнулась.) На самом деле (наконец выговорила она) Вилен Кудимов, муж молодой хозяйки дома, несмотря на то что был женат, крутил роман с моей дочкой Жанной Спесивцевой.

«Господи! – воскликнула я тогда (продолжила свой рассказ бабушка Лиза). – Какая она ветреная! Совсем не меняется!» Тут я вспомнила, что Жанны больше нет, и мои глаза наполнились слезами.

Галя следила за мной с состраданием. Я сделала ей знак, чтобы она продолжала. «И вот, – вздохнула она, – под конец вечеринки, в один совсем не прекрасный момент, между двумя девушками-соперницами, Жанной и Лерой, произошло объяснение. Они удалились в одну из комнат – спальню. Не знаю, о чем они там говорили. Я ничего не слышала, никаких звуков. Как потом рассказывала Лера, ваша дочь стала требовать, чтобы она, Лера, оставила Вилена. Та отказывалась. И тогда Жанка схватила со стены коллекционный грузинский, остро наточенный кинжал и приставила его себе к сердцу. И стала угрожать самоубийством. И когда Лера стала высмеивать ее, нажала на рукоятку кинжала. Наверное, она

не хотела причинить себе сильного вреда и просто не рассчитала силы. Однако кинжал легко вошел в тело и достал до сердца. Жанна умерла мгновенно».

– Какая чушь! – не выдержав, воскликнула тогда, в комнатке Иноземцевых в Болшево, бабушка Лиза. – Чтобы Жанка сама причинила себе вред?! Совершила самоубийство?! Да я никогда не поверю!! Она так любила жизнь, слишком любила – чтобы из-за какого-то подонка взять и зарезаться! – тут она заметила, что бедная Галя вся покраснела и готова была снова заплакать. – Да и кто тебе сказал, что она убила себя?! – набросилась Елизавета Семеновна на Галю. – Ведь они были в комнате только вдвоем, как ты говоришь?! Может, на самом деле это Лера сама убила Жанночку?!

И тут ее собеседница разревелась – возможно, оттого, что бабушка Лиза попала в точку. А потом сквозь рыдания выкрикнула:

– Ах, тетя Лиза! Не спрашивайте меня ни о чем! Я сама ничего не знаю!! Ничего своими глазами не видела! Рассказываю вам с чужих слов!

Прабабка почувствовала тогда: ложь кроется и за рассказом Галочки, и за версией следователя. Елизавета Семеновна уверилась: они, и следователь и Галя, не просто что-то недоговаривают, но, возможно, сознательно морочат ей голову, перевирая факты и представляя картину совсем иной, чем на самом деле.

«А ну-ка, расскажи, – насела прабабушка Лиза на плачущую Бодрову, – в чьем доме вы были? Что за важный генерал в отставке? Как его фамилия? Дай мне его адрес! Телефон!» Она, конечно, жалела в тот миг рыдающую беременную молодуху – однако еще жальче было свою собственную погибшую дочь.

– Генерала фамилию я точно не знаю. Но, наверное, она, как и дочери его девичья, – Старостин. А адрес я наизусть помню, он простой. Кутузовский проспект, дом ***, квартира ***. Вилен с Лерой там и живут.

– А кто еще присутствовал на вечеринке?

И она перечислила: был, разумеется, муж Гали Владик Иноземцев, а также его товарищ по институту – зовут Радием Рыжовым, он лейтенант, служит где-то на полигоне, но в Москву приехал в длительную командировку. И еще некто

Флоринский, довольно пожилой инженер-конструктор, старший товарищ Владислава и Радия. (Елизавета Семеновна тогда не записывала их имен – она все впитывала в себя обострившимися чувствами, каждую деталь – и рассказывала пятнадцать лет спустя, в семьдесят четвертом году, что все до донышка помнит.) Радий и сейчас продолжает проживать дома у Флоринского, в соседнем поселке Подлипки, только адреса она не знает, но муж, Владик Иноземцев, вроде знает его домашний телефон.

Разговор Елизаветы Семеновны с Галей прервался приходом ее мужа Владика. Галина представила их, и бабка Лиза заметила, как он смутился и напрягся, когда узнал, что она мама Жанны. Пытаясь скрыть свои недавние слезы и растерянность, его юная жена захлопотала, разогревая мужу на печи картошку, и даже достала из заоконного ящика (холодильника в доме не было) пару приберегаемых для него сосисок. Владик скрылся за ширмой переодеться – жили они в одной комнате, и спальное место отгораживалось от «гостиной» матерчатым занавесом. Но едва он вышел, бабка Лиза приступила с расспросами теперь к нему. Она готова была нарушить все правила вежливости и этикета, лишь бы узнать правду, что произошло с дочерью.

– Владик, скажи теперь ты: как погибла Жанна?

Молодой человек метнул растерянный взгляд на юную супругу:

– А вам разве Галя не рассказала?

– Рассказала. Но я хочу услышать твою версию.

– Очную ставку, что ли, проводите? – усмехнулся, скривившись, Владислав.

– Я хочу узнать правду.

Иноземцев, краснея, волнуясь и запинаясь, начал рассказывать. Его изложение совпадало с тем, что говорила Галя. Совпадало точь-в-точь, один в один. Слишком похоже – в лексике, малых деталях – и оттого усиливало эффект неправдоподобия. Елизавета Семеновна поняла в тот момент, что истины ей в этом доме не добиться. Она отказалась от чая и тем более ночлега, сухо попрощалась с хозяевами и поспешила на станцию.

Зима в ту пору пришла ранняя, под ботиками чавкала грязь и мокрый снег. На станции оказался телефон-автомат, а в кошельке прабабки счастливым образом завалялись пятнадцатикопеечные монеты. Напоследок она взяла у Иноземцевых домашний телефон Флоринского и теперь ему позвонила.

– Слушаю, – ответил глухой мужской голос.

Елизавета торопливо представилась и сообщила, что хотела бы встретиться, поговорить. Быстро добавила, что находится неподалеку, на платформе Болшево, и готова прямо сейчас подъехать.

– О чем говорить? – сразу охрип голос на другом конце провода.

– О смерти моей дочери.

– Я все рассказал в милиции и в прокуратуре.

– Но я ее мать! Вы понимаете?!

На добрую минуту повисло молчание. Елизавета Семеновна даже дунула в трубку и несмело проговорила: «Алло?» Она не знала, что ее собеседник в это время буквально корчится от стыда за свое вранье и колеблется: может, плюнуть на все? На все угрозы? И рассказать несчастной матери правду? Но затем проклятый инстинкт самосохранения взял верх, и Юрий Васильевич произнес:

– Извините, сейчас я, к глубокому сожалению, занят.

– А завтра?

– Увы, меня в Москве уже не будет. Я уезжаю на полигон.

– У вас сейчас проживает Радий Рыжов?

– Временно – да.

– А могу я поговорить с ним?

– Извините, но его в настоящую минуту нет дома.

Елизавете Семеновне захотелось крикнуть в трубку, что они все убийцы и она их ненавидит, но проклятое хорошее воспитание взяло верх, она сдержалась и просто повесила на рычаг тяжелую трубку.

После приема, который ей оказали в Болшеве и Подлипках, баба Лиза сделала для себя два вывода: первый – со смертью дочери и впрямь дело нечисто. И второй: действуя в лоб, она ничего не добьется. Идти в дом к генералу, где погибла Жанна, и задавать вопросы напрямки не годится. Надо действовать окольными путями, применять военную хитрость. Но как? Сердце ее разрывалось от горя, и она не могла ничего придумать.

В гостинице «Мечта» ей отвели койку в номере на шестерых. Она приехала, легла, завернулась в одеяло с головой и стала думать. И не заметила, как уснула. Сны снились сладкие – такое с ней уже бывало в войну: чем тяжелее наяву, тем слаще погружаться в объятия Морфея.

Утром Елизавета Семеновна, толком ничего не придумав, решила поехать на Кутузовский проспект, к дому, где проживал генерал, а там – действовать по наитию. Имелась в женщинах нашего рода черта, которая не давала Спесивцевым возможности жить спокойно и счастливо, в объятиях любимых мужчин: то были прямолинейность и чистосердечие. Вот и тогда Елизавета Семеновна не нашла ничего хитрее, чем прийти в квартиру Старостиных, причем в рабочее время. «Там будет прислуга, – размышляла она, – а прислуга всегда недолюбливает работодателей», – последнюю мысль прабабка почерпнула из советских книг и фильмов, потому что последние сорок лет никакой прислуги не только не имела сама, но и не встречалась с нею.

Несмотря на фешенебельность дома на Кутузовском, никто его вроде бы не охранял: ни консьержей, ни железных дверей в подъездах, ни кодовых замков – при советской власти подобное практиковали только в самых важных домах типа высотки в Котельниках, где в парадных сидели привратники. В тихом дворе росли прутики-саженцы. Прогуливались дамы с детишками, стояла пара-тройка частных «Москвичей» и «Побед».

Елизавета Семеновна беспрепятственно вошла в подъезд, поднялась на лифте, позвонила в нужную квартиру – и расчет ее оказался правильным: дома находилась прислуга. Дверь распахнулась на длину цепочки, выглянуло старое востроносое личико в платочке: «Вам кого?» – остренькие глазки смотрели подозрительно и недружелюбно.

– Это квартира Старостиных?

– А что это вы выспрашиваете? Чего вам надо?

– Вы, наверное, Варвара? – сделала заход с другой стороны бабка Лиза.

– Предположим. И что?

– Тогда вы должны были знать мою девочку… – вздохнула гостья.

– Какую еще девочку?

– Жанну Спесивцеву. Она погибла здесь, в этой квартире.

– Эвона как!

Дверь резко захлопнулось. Раздался звук запираемого замка. Потом лязгнул засов.

– Вы что? – изумилась незваная гостья.

– Идите, гражданка, отседова! – раздался голос из-за двери. – И не приходите больше!

Что оставалось делать бедной, бедной бабке Лизавете? Упорство было еще одним ее доминирующим жизненным качеством. Именно оно, упорство, вкупе с огромным трудолюбием, позволило выжить в войну – да и в довоенные, и послевоенные годы. И потому сейчас она решила наперекор всему: не уйду, пока не поговорю с хозяевами. Пусть с генералом, пусть с супругой, или с дочерью, или с зятем. А лучше со всеми вместе. Сперва Елизавета Семеновна думала посидеть во дворе на лавочке, дождаться. А потом сообразила: подъезд-

то огромный! А она никого из семейки в глаза не знает. Не видела ни разу, даже на фотографии. И тогда она приняла решение устроить засаду в парадном. Подоконники широкие. Можно даже сидеть. И она будет видеть всякого, кто выходит на этаже из лифта или станет подниматься по лестнице.

Было два часа, до конца рабочего дня ждать оставалось долго, но кто знает, может, иной из Старостиных приезжает домой в обеденный перерыв. Или кого-то отпустят со службы раньше.

Она села на подоконник и даже стала задремывать, как вдруг на ширину цепочки растворилась дверь Старостиных, и давешняя прислужница проскрипела:

– Сидеть здесь не можно, гражданка. Я милицию вызову.

Как оказалось впоследствии, она претворила в жизнь свою угрозу. Возможно, отделение находилось совсем рядом. Или по сигналам из подобных квартир наряд приезжал незамедлительно. Как бы то ни было, милиционеры появились очень быстро – Елизавета Семеновна не ждала их столь скоро. Один мильтон вышел из лифта, а другой одновременно поднялся по лестнице, тем самым беря гражданку Спесивцеву в кольцо.

– Ваши документики, гражданочка! Что вы здесь делаете? Вам придется проехать с нами. Почему? Потому что это режимный объект и находиться здесь посторонним не дозволяется.

В мотоцикле с коляской бабку Лизавету (кстати, в то время ей не так много лет было, пятьдесят три – по нынешним временам в самом соку) привезли в отделение. Паспорт сразу отобрали, как ей сказали, «на проверку» и даже посадили, словно преступницу, в клетку за решетку.

Спустя три часа ожидания явился наконец давешний следователь в коверкотовом пальто и шляпе. Коротко приказал мильтонам: «Откройте! – а потом бросил женщине: – Следуйте за мной».

Они прошли в кабинет. Мужчина пригласил ее присесть. Глаза его были усталыми, но добрыми. Он укоризненно улыбнулся:

– Что это вы, Елизавета Семеновна, затеяли? Пристаете к гражданам, выспрашиваете. Не даете им спокойно трудиться и отдыхать…

Бабка Лиза молчала, не зная, какую линию защиты выбрать. Потом решила говорить правду:

– Я хочу выяснить, как действительно погибла моя девочка.

– А я вам все сказал, – развел руками начальник. – Вы что, советским органам не доверяете?

– И все-таки я бы хотела поговорить со свидетелями. – Как ты знаешь, Вика, упорство было у прабабки Лизы фирменной чертой. – Со всеми, кто присутствовал в квартире во время убийства.

– А с ними уже беседовало следствие – наше, советское следствие.

– И все-таки я бы хотела сама.

– Могу я узнать, с какой целью?

– Восстановить последние минуты Жанночки.

– Следствие все установило. Что вам еще надо?

– Разобраться, почему не стало Жанны.

– Ну, знаете, хватит! – хлопнул ладонью по столешнице следователь. – Видит бог, я долго терпел. Я вам тут частным сыском заниматься не позволю. Ишь, приехала! Шерлок Холмс в юбке! Вы что, советской милиции не доверяете? Или вам наши органы прокуратуры не нравятся? Следствие и дознание? Не нравятся, да?! Вы понимаете, что вы своими действиями тень на них бросаете?

Елизавета Семеновна не выносила прямого и грубого нажима и стала оправдываться: «Я ничего ни на кого не бросала, я хотела просто…»

– Просто! – перебил ее хозяин кабинета. – Хотела она! Нет, это я тебе скажу – просто: тебе советские органы и наша прокуратура не нравятся, и ты хочешь их опорочить, потому что тебе вся Советская власть не нравится! Потому что ты, Спесивцева, дочка белогвардейского прихвостня, думаешь, раз ты в анкетах про него благоразумно не пишешь, мы о нем забыли?! А ведь он, твой отец, был расстрелян в двадцать первом году органами ЧК – за открытое пособничество белякам! Забыла?! И это еще не все! Ведь ты не пишешь в анкетах, что отец твоей прекрасной Жанночки – на самом деле враг народа и расстрелян в тридцать восьмом году!

– Он реабилитирован, – прошептала бабка Лиза. – Мне и справку прислали.

– Значит, теперь ты решила, что ленинский карательный меч наших органов может ошибаться?! И сейчас, когда в результате несчастного случая, по собственной глупости, погибла твоя дочка, – органы тоже ошибаются?! Знаешь, Спесивцева, не выводи меня из себя! У всякого терпения бывает свой предел!.. Ты где работаешь, Спесивцева? – вдруг следователь переключил регистр своей речи с рассерженного на задушевный.

– В конструкторском бюро, – оторопело проговорила бабка Лиза.

– А кем ты там работаешь?

– Заместителем начальника.

– Вот! – воздел палец хозяин кабинета. – Ты работаешь в КБ, на начальствующей должности, почти в номенклатуре – и ты думаешь, почему? Потому что ты такая умная – талантливая – гениальная? Нет и нет! Ты работаешь там только и исключительно потому, что органы до поры до времени закрывают глаза на твой, Спесивцева, так сказать, послужной список. На твоего отца, расстрелянного в Гражданскую. На твоего мужа, казненного в трудное предвоенное время.

– Он не муж мне был, – прохрипела Елизавета Семеновна.

– Да, официально вы с ним в браке не состояли. Но фактически он являлся твоим, Спесивцева, сожителем и отцом твоей дочери Жанны! Скажи спасибо судьбе, а главное, советским органам, что вас обеих, и тебя, и дочку, тогда не

репрессировали, как ЧСИР – членов семьи изменника Родины! Что дали тебе погулять на свободе – а ведь могли стереть в лагерную пыль, да и надо было! Словом, давай, Спесивцева, забирай тело своей дочери из морга, договаривайся с крематорием, проводи кремацию и быстренько езжай с урной домой, хорони. И не лезь ты больше в это дело. По-дружески тебе советую: не лезь! Не надо, – тон следователя снова сменился на самый дружелюбный, однако каждое его слово, если вдуматься, дышало угрозой. – У тебя ведь внучка осталась, Валентина, пяти лет. Единственная память о дочери. Самый близкий тебе человек. Хорошая девочка, в детский сад ходит. Ты ведь одна у нее теперь, и за папу, и за маму. Одна – вдумайся, Елизавета. У нее ведь, у несмышленыша пятилетнего, никого: ни отца нету, ни матери. Одна ты. А если с тобой вдруг что случится? Мало ли! Авария, допустим. Или, не ровен час, кирпич на голову упадет – как в старину говорили, все под богом ходим. Или хотя бы с работы тебя вдруг р-раз – и вычистят. Что тогда будешь делать? Куда пойдешь? Уборщицей на четыреста пятьдесят рублей?[4 - Здесь масштаб цен указан до «хрущевской реформы» 1961 года.] Дворничихой? А внучка? Как ее поднимать?.. Так что послушай моего совета, Елизавета Семеновна: не лезь ты в это дело. Дочку не вернешь, а неприятностей себе нажить можешь. Все! Можешь быть свободна! Пока. Но живи и помни, о чем я тебе сказал.

Бабка Лиза ушла от него. И – послушалась совета. Забрала тело дочери, сожгла его в крематории, увезла на родину и захоронила урну. Но, перед тем как уехать, в тот же вечер, записала все, что узнала о гибели дочки. А главное – имена всех причастных:

Старостин Федор Кузьмич, генерал КГБ в отставке.

Его жена.

Прислуга по имени Варвара.

Инженер-конструктор лет сорока пяти – Юрий Васильевич Флоринский.

И молодые, вчерашние студенты:

Вилен Кудимов.

Валерия Кудимова (Старостина), его жена.

Галина Иноземцева (Бодрова).

Ее муж Владислав Иноземцев.

Радий Рыжов.

В семьдесят четвертом году бабка Лизавета передала этот список своей внучке Валентине. Моей маме.

57 лет назад

1957 год, август

Город Москва, столица СССР

Владислав Иноземцев

– Иноземцев!

– Я!

– Кудимов!

– Здесь!

– Рыжов!

– Туточки я.

– Рыжов, что за балаган? Вы что, в цирк пришли? Отвечайте по-уставному! То есть как положено!

– Я!

Три друга-«маишника» вместе с другими однокурсниками впервые прибыли на дежурство комсомольско-молодежного оперотряда.

В пятьдесят седьмом году прошлого века в столице нашей Родины происходило много чудесного и необычного. Она удивительно не походила на Белокаменную образца, скажем, пятьдесят пятого или тем более пятьдесят третьего года. Менялось все и стремительно. (Потом это время назовут «оттепелью».) Происходили многие вещи, которые раньше было даже трудно представить. Зимой пятьдесят седьмого, к примеру, в Москве, на вновь построенном стадионе Лужники состоялся чемпионат мира по хоккею с шайбой – первое первенство по этому виду спорта, случившееся в СССР. Играли под открытым небом, а болельщиков на матчах – на морозе, зимой! – собиралось более пятидесяти тысяч человек! Стал выходить новый журнал под названием «Юность», где начали печатать даже детективы. С гастролями приехал настоящий французский шансонье Ив Монтан. В Пушкинском музее показали перед возвращением в Германскую Демократическую Республику трофейные картины и скульптуры. Однако все эти мероприятия показались лишь разминкой в сравнении с фестивалем молодежи и студентов. В столицу мира и социализма, в которой иностранцев можно было пересчитать по пальцам, в тот самый город, из которого еще пять-семь лет назад, при Сталине, можно было загреметь в ГУЛАГ просто за то, что ты поговорил с иноземцем, вдруг нахлынуло более сорока тысяч пришлецов: черненьких, желтеньких, звездно-полосатеньких, социалистических, буржуазных, неприсоединившихся. Сам факт столь впечатляющего заезда заграничных гостей просто потряс Белокаменную. Казалось бы, проходит ничем не примечательное (по сегодняшним временам) мероприятие – парад участников фестиваля. На автобусах, а чаще на грузовиках провозят по улицам Первопрестольной гостей из различных стран. Что тут может быть интересного? Да, многие гости вооружены флагами своих стран или одеты в национальные костюмы. Большинство улыбаются и машут руками. Кричат что-то. И – что? На что тут, по сегодняшним понятиям, смотреть?

Но! Вдоль проспекта (впоследствии именно в честь этого события – фестивального парада – названного проспектом Мира) собираются тысячи, десятки или даже, может, сотни тысяч зевак. Они высовываются из окон, машут

с балконов, забираются на фонари и телефонные будки. Многие оккупируют крыши. Одна из них, на Сретенке, даже обрушивается под массой тел энтузиастов. Интерес к чужеземцам нешуточный. Хотя бы потрогать заморского гостя – уже интересно. А если вдруг подружиться? Или, допустим, полюбить?.. И даже?..

Вот тут-то, именно при мысли «полюбить» (и дальнейших), молодые жители столицы могли встать на скользкий путь – низкопоклонства и урона чести передового человека. И, честно говоря, порой вставали. Чаще всего на скользкой дорожке оказывались девушки и молодые женщины. Они принимались дружить с понаехавшими гостями настолько близко и активно, что это вредило законной гордости всего советского народа за родную страну. (Случаи противоположной дружбы полов – отечественных юношей с иностранками – встречались крайне редко.) А вот наши простые советские девушки, к сожалению, проявляли в данном вопросе нездоровую активность. К счастью, партия и правительство заранее предвидели возможный оборот событий и своевременно организовали необходимые контрмеры. Некоторые горячие головы из числа скрытых сталинистов предлагали поступать с предательницами трудового народа по законам военного времени. Как с теми шлюхами, которые осмеливались спать с фашистскими захватчиками на временно оккупированных во время Великой Отечественной войны территориях: суд, «четвертак», лагерь, Сибирь. Но сталинистов одернули. Они не понимали, что времена изменились: на сей раз чужеземцы являлись не захватчиками, а гостями, которых требовалось не уничтожать, а восхищать советскими достижениями. Однако, несмотря на гостеприимство, половая связь с иностранцем являлась явным перебором и с подобными случаями требовалось бороться. Но бороться – без перекосов и перегибов. И привлекать к активному воспитательному процессу сотрудников органов в минимальных, строго дозированных количествах. В виде отеческой помощи со стороны старших товарищей. А основную заботу по отстаиванию чести и достоинства молодежи было решено возложить на ленинский комсомол. И он начал ее отстаивать. Очень своевременно создал оперативные комсомольско-молодежные отряды, которые послужили партии и Родине не только в горячие деньки фестиваля – они и впоследствии, на протяжении тридцати с лишним лет истории, оставшейся для Советского Союза, славно боролись с носителями нездоровых явлений нашей жизни: фарцовщиками, диссидентами, хулиганами, алкоголиками, хиппарями, панками и прочими. А первые шаги оперотряды сделали по жаркой московской почве именно тогда, летом тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. И в один из таких отрядов были призваны наши герои, студенты четвертого курса МАИ: Вилен Кудимов, Владик Иноземцев, Радий Рыжов.

– Объясняю диспозицию.

Задачу ставил командир оперотряда – замсекретаря факультетского бюро Егор Поливанов. Поливанов Владику не нравился, был он, в его представлении, старым – отслужившим армию, а главное – прошедшим Крым и Рым, много понимавшим в жизни и стремящимся непременно оторвать от нее главенствующее место и теплый кусочек. Словом, командир Поливанов был слегка увеличенной и сильно ухудшенной копией Вилена Кудимова, который тоже умел устраиваться – однако Вилен при этом и друзей своих не забывал, и гадостей другим не делал. А Егор, по роже видно, был способен.

Вокруг него сгрудились человек пятнадцать бойцов, среди них Владик, Вилен, Радий. У всех на сгибах локтей – красные повязки дружинников. Чуть в стороне – двое представителей органов: милицейские старшина и сержант. Оба в парадной форме, снисходительно наблюдающие за штатскими шпаками, которым явный недоучка косноязычно объясняет азы оперативной работы:

– Передвигаемся, вытянувшись в цепь, по возможности скрытно, однако не теряя из виду своих соседей по звену…

– Можно вопрос? – выскочил Радий – ему тоже не слишком нравился Поливанов. – Я не понимаю, как передвигаться скрытно и одновременно не теряя друг друга из вида?

Кое-кто, включая Владика, захмыкал. Егор в ответ рявкнул:

– Отставить смех! А вы, Р-рыжов, ехидничать дома у мамочки за чаем будете, ясно?! Здесь задача общественной важности, а вы юмор шутите? Нам Родина доверила, а вы над поставленным делом хихикаете? На бюро разбирательства захотели? Я вам обеспечу!

В ту пору слова «Родина доверила» и «разбирательство на бюро» имели для молодых огромное значение. Да что там – по-настоящему леденили кровь, поэтому весельчак Радий прикусил язычок. А командир продолжал объяснять диспозицию:

– Сейчас, с началом вечерних сумерек, они как раз и распояшутся. Здесь, в парке, говорят, каждый куст дышит. Поэтому внимательным способом осматриваем все укромные от глаза уголки. При обнаружении… м-м… – Егор пошевелил пальцами в попытке подобрать эвфемизм, – парочек отрезаем их от возможности отступления. Затем окружаем и фиксируем. Грубой силы не применять! – обвел своих подопечных жестким взглядом командир. – Особенно это касается в отношении гостей нашей страны. Если иностранный гражданин активно сопротивляется, вы имеете право его отпустить! Пусть уматывает – если ему самому не совестно! Но лучше, конечно, представителя чужеземной державы также фиксировать и проводить с ним небольшую политико-воспитательную работу. Если гражданин не знает русского языка, – Поливанов строго посмотрел на Радия, предчувствуя очередные вопросы, – черт с ним, политбеседу можно отставить. Однако лучше все-таки донести до него информацию о недопустимости подобного поведения на территории нашей страны, о моральном облике советской молодежи и студентов и опасности венерических заболеваний, передающихся половым путем. – Командир снова внушительно обвел своих подчиненных тяжелым взглядом. – Теперь по дамочкам. Их следует задерживать, однако безо всякой грубости и излишнего насилия. Не давать им уйти, но при этом не унижать их человеческого достоинства. До вмешательства органов правосудия можно провести с правонарушительницей строгую, но вежливую беседу о моральном облике советского человека и женщины. Затем передаем ее в руки правопорядка. И продолжаем нести выполнение поставленной задачи дальше, до победного конца. Вопросы есть?

– Да, – кивнул Владик, – скажите, а что будет с задержанными девушками впоследствии?

Егор строго и подозрительно оглядел Иноземцева, однако подвоха в его словах не обнаружил и ответил со всей серьезностью:

– На них в отделении милиции будет составляться протокол за нарушение общественного порядка. Данный протокол в дальнейшем будет отправляться по месту работы (или учебы) задержанной, а также в ее комсомольскую организацию – хотя подобного рода проститутки, – Поливанов со всей презрительностью скривил на этом слове губу, – я уверен, в рядах ВЛКСМ состоять не могут. А если окажется, что гражданка и ранее замечалась за антиобщественным поведением или, к примеру, ведет тунеядский образ жизни – на нее будет заводиться дело в порядке уголовного производства. Все ясно?

Тогда приступаем к несению дежурства.

И они отправились – во главе с Поливановым, которого сопровождал бок о бок один из факультетских подхалимов. Пока шли по цивилизованной части парка – дорожки, скамейки, гуляющие, – держали подобие колонны. Трое друзей – Вилен, Владик и Радий – топали вместе. Радик вполголоса сказал:

– Вот мы за ними, парочками этими, охотимся. А если у них любовь?

– Какая, к чертям, любовь?! – возмутился Вилен. – Только увиделись-познакомились – и сразу под куст?

– Мало ли что бывает? У тебя разве не случалось, чтоб ты при виде девчонки обомлел и сразу готов был с ней идти на край света?

– У меня, может, и бывало. А девушку должна отличать скромность, – сурово возразил Вилен. – Тем более – нашу советскую девушку перед лицом иностранных гостей. Какая, к бесу, любовь – сразу бежать с иноземцем в укромный уголок? В расчете на шелковые чулки и иностранную шоколадку? Сплошная проституция!

Владик промолчал, потому что привык, прежде чем высказаться, взвешивать ситуацию с разных сторон. С одной стороны, получалось, что вроде бы прав Радик и невозможно исключить случай, что двух свободных взрослых людей поразила в самое сердце неожиданная любовь. Но, с другой, Вилен, получалось, ближе к истине – потому что покорное бегство с иностранцем в чащу парка не делает чести советской женщине. Что будут думать, судя по этим отбросам общества, иностранные гости об остальных советских людях? А еще, конечно, задевало (но ни Владик, ни другие парни вслух об том не говорили), что девчонки столь легко вступают в связь с неграми, индусами и прочими французами и штатниками – в то время как ни он, ни один из его друзей не мог похвастаться, чтобы какая-то из столичных девушек проявила подобную прыткость по отношению к ним, простым советским студентам. Чтобы познакомилась – и р-раз, сразу обниматься под куст.

– Вести себя, как эти девчонки, я считаю, свинство, – в конце концов, лапидарно высказался Владик и, как оказалось, поставил точку в споре – потому что они подошли к полузаброшенной части парка. Пейзаж тут скорее походил на

сельский: высокая трава, поле с тропинкой, вдали – речка и по-над нею – кусты и заросли ивы. Вечерело, солнце клонилось к закату, и идиллическую картину довершало стадо коз, пасущихся в сторонке, – а рядом с ними, на стульчике, дремала древняя бабка.

– Рассредоточились, – скомандовал вполголоса Поливанов, и отряд разошелся в цепь. Каждый держался друг от друга метрах в пятнадцати, и получалось, что фронт их наступления занял собой едва ли не все поле. Егор махнул рукой, и бойцы побрели по направлению к реке. Высокая трава мочила брюки выпавшей росой. Двое милицейских держались особняком – друг рядом с дружкой и чуть сзади оперотрядовцев. Служивые явно скептически посматривали на происходящее – с подобным выражением отцы порой наблюдают возню своих детишек в песочнице.

Владик тоже шагал без особого энтузиазма. Хотя гончий азарт, который возникает всегда, когда соединяются молодые мужчины, его подстегивал. Что ни говори, в мероприятии было что-то доисторическое: молодые охотники племени выслеживают самку, позволившую себе связь с чужаком. Правда, по первобытным законам им следовало для начала убить чужака, а потом, всем по очереди, надругаться над предательницей. При мысли об этом кровь бросилась Владику в лицо: он, как и большинство студентов, еще не познал радостей плотской любви. Но теперь нравы сильно помягчели. Нынче чужака отпускают – разве дав ему пару пенделей, а женщину всего лишь передают на суд жрецов и привязывают, образно говоря, к позорному столбу.

В высокой траве ничего не шевелилось, не шуршало – лишь носились над цветами шмели и пчелы. А деревья по-над речкой – все ближе, ближе… Вот одно из них: расположено соблазнительно, само собой образуя уютный шатер. Ветви его никли, создавая непроницаемый для взгляда зеленый занавес. Если бы Владик был с девушкой, он бы, наверное, выбрал для утех именно эти своды. С замирающим сердцем юноша двинулся к дереву. Изумрудная завеса листьев приближалась с каждым шагом. А за нею – почудилось мелькание чего-то белого, шепот, возня… Или это шалит его воображение?

Владик оглянулся на товарищей, они держались поодаль, шагах в двадцати – Вилен справа, Радька слева – и тоже подходили к своей части приречных зарослей. Неясные звуки, доносившиеся из-под зеленого полога, прекратились, наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь жужжанием шмелей и звоном вдруг появившихся комаров. Иноземцев инстинктивно шлепнул на

щеке одного, отвлекся. Он находился на расстоянии метров трех от лиственной завесы. И вдруг оттуда выскочило что-то большое, сопящее, – в первый момент подумалось: кабан! – но то был человек, огромный парень в расстегнутой на груди рубашке. Он пронесся на расстоянии метра от Иноземцева, пихнул его в плечо – так, что дружинник чуть не упал, – и прорычал на чистом русском языке: «Пшел на х**, недоносок!» И помчался дальше, через поле, убегая по направлению к более цивилизованным местам. На ходу он застегивал рубашку. Одежда парня, как и его лексикон, наводила на мысль, что он скорее наш, советский, нежели иностранец.

Впрочем, иной русский бывает хуже любого фашиста. Предателей хватает – недавняя война это показала. От удара, который убегавший нанес в плечо, Владик едва не упал, но удержался. Он глянул на друзей. Оба заметили, как из кустов вылетел громила, и остановились – но никто не побежал вслед за ним. Замерли на месте и служители закона, вероятно, все они вспомнили, что была указивка парней не трогать, основной объект охоты – дамочки. Поэтому мужик беспрепятственно убегал – шумно, словно лось, проламываясь сквозь траву и делая большие прыжки. Значит, было от чего скрываться? И тогда Владик сделал решительный шаг вперед и оказался под кроной могучего дерева. (Краем глаза он увидел, что его друзья, не сговариваясь, наперегонки бегут к нему.) А под пологом ивы (наверно, то была ива), прислонясь к стволу, на постеленном на землю одеяле (почему-то Владик сразу заметил именно старое, кое-где прожженное утюгом одеяло), сидела девушка и, застегивая блузку, испуганно смотрела на оперотрядовца. Юбка ее была сбита на сторону. Босоножки валялись рядом. Голые ноги били в глаза своей белизной.

Девушка нервно вскочила, одновременно возвращаясь на место и пытаясь застегнуть юбку. А тут и друзья подоспели – Вилен и Радька, оба тяжело дышали после пробежки. За прошедшие пару секунд Владик успел рассмотреть гражданку, и ему показалось, что вид у нее нездешний, несоветский. Слишком яркая, цветастая блузка; слишком чудно?й материал у юбки и фасон у босоножек.

– Кто такая? – сразу спросил подоспевший Вилен – скорее у Владика, чем у нее, однако ответила она – непонятно:

– Кой си ти? Това, което трябва? Дэ куа авеву безуа?[5 - Кто вы такие? Что вам нужно? (франц., болг.)]

– О! Иностранка, что ль? – удивился Кудимов. – Или придуривается? – И спросил у девушки, отчетливо и раздельно: – Ты кто? Как тебя зовут? – А потом добавил по-немецки: – Ви хайзен зи?

Губы у девушки тряслись, она стояла босая у дерева, словно пленная партизанка. Руки ее лихорадочно оглаживали блузку.

– Моето имя Мария Стоичкова, – пробормотала она. – Аз сым от Болгария. Делегат[6 - Меня зовут Мария Стоичкова. Я из Болгарии. Делегат.].

– Ишь ты как! – воскликнул Радий. – И она туда же!

А Владик смотрел на девушку, и стыдился за нее, и жалел. И еще она ему очень понравилась. Ничего особенного в ней не было: простое округлое лицо, высокие скулы, густые брови – но Иноземцев сразу ощутил исходящий от нее мощный заряд, волну магнетизма. Тогда никто из них не знал подобных выражений, но много лет спутся, в конце восьмидесятых, немолодой Владислав Иноземцев впервые услышит слова «секси» и «сексапильный», узнает их значение и согласится сам с собой, что, наверное, никто в его жизни, кроме Марии, настолько не подходил под эти определения. Даже в тот самый первый момент, когда девушка предстала перед ним в таком жалком положении, юноша ощутил к ней настолько мощную тягу, как никогда в жизни. И плевать было, что только что она обжималась с другим. А может, это обстановка охоты подействовала? Был бы он первобытным – наверное, набросился бы на нее, невзирая на присутствие друзей.

– Что ты здесь делала?! – рявкнул на девушку Вилен.

Она похлопала глазами.

– Аз не разбирам на руски език.

– Про девчонок-иностранок никакого приказания не было, – тихо, адресуясь к друзьям, проговорил Радий.

– И что теперь с ней делать? – в тон ему вполголоса произнес Владик.

– Пенделя под зад, и пусть валит! – откликнулся Вилен. И обратился к девчонке, произнося слова раздельно и громко, как принято разговаривать с глухими и иностранцами: – Ты понимаешь, что у нас в стране не принято такого делать? Ты понимаешь, что ты общественный порядок нарушила? Что могла половую инфекцию получить?

– Да-да, я разумею, – девчонка отрицательно замотала головой.

– Что ты, говоришь – разумею, а сама головой мотаешь?! – напустился на нее Вилен.

– Погоди, – осадил друга начитанный Владик. – Она и впрямь из Болгарии, а они там, когда «нет», кивают, а когда «да» – наоборот, головой мотают, – поделился он сведениями, почерпнутыми из журнала «Вокруг света».

На вид девушка была им ровесница, а может, чуть старше. Какая распущенность, подумал Владик: приехала в незнакомую страну – и сразу обжиматься по кустам с парнями. Вдобавок гнусный какой мужик! Оставил ее. Умотал. Хорош гусь! Бросил девушку в беде. А если б мы оказались не оперативным отрядом, а, наоборот, хулиганами?

– Плохой у тебя товарищ оказался, – укоризненно проговорил он вслух, адресуясь к незнакомке. – Бросил тебя.

– Да-да, – она согласно помотала головой из стороны в сторону. – Он недобыр.

– Хватит вам ее воспитывать, – недовольно проговорил Радий. – Пусть идет своей дорогой. – А потом продолжил, как бы про себя: – Странно, что ребята нами еще не интересуются, – и выглянул за полог дерева.

Возле зеленых насаждений у кромки воды, метрах в ста пятидесяти от друзей, тем временем явно что-то происходило. Весь их отряд сгрудился там. Парни окружили кого-то полукольцом. Кого – видно не было, лишь внутри круга раздавались порой мужские выкрики и женский крик. К месту происшествия неторопливо приближались милицейские.

– Вот и славно, – сообщил Радий, вернувшись внутрь древесного полога. – Ребятки заняты, до нас им дела нет. Самое время сматывать удочки. – И он снял со своего локтя повязку дружинника и сунул в карман. – А то я себя отчасти фашистом чувствую, участником облавы на партизан. И поймали мы Зою Космодемьянскую, – кивнул он на девушку.

– Ты бы придержал язычок-то, Радий, – строго сказал Вилен.

– Да, тем более при иностранке, – поддержал друга Владик.

– Она все равно ничего не понимает, – махнул рукой Рыжов. И вдруг совершенно неожиданно обратился к девушке: – Пойдем, я тебя провожу. Ты где живешь? – А потом повторил по-английски: – Летс кам. Вэа ду ю лив?

Девушка просияла и проговорила на неплохом инглише:

– Ай лив эт зе хотел, неймд «Бурятия». Летс го?[7 - – Пойдем. Ты где живешь? – Я живу в гостинице «Бурятия». Идем?]

Владик в первый момент даже растерялся от напора, с которым Радий стал атаковать иностранку. А в следующий миг подумал: «Нет, шалишь! Я не уступлю!» И если минуту назад еще имело значение, что совсем недавно девушка обжималась в кустах с отвратительным бугаем, то теперь начисто забылось. Остались лишь девушка – и друг Радий. И его нельзя было к ней допустить. Поэтому Владик тоже снял с рукава повязку, сунул ее в карман и проговорил, обращаясь к Вилену:

– Я, пожалуй, тоже пойду. Прикроешь нас?

Кудимов с нескрываемой насмешкой поглядел на обоих, а потом проговорил вполголоса:

– Смотрите там, осторожнее насчет венерических заболеваний, – и крикнул нацепляющей босоножки Марии: – Одеяло-то свое забери.

Она отмахнулась:

– Това не е моето одеяло[8 - Это не мое одеяло. (болг.)].

* * *

Гостиница «Бурятия» находилась бог знает где, неподалеку от ВДНХ, и у новых знакомых достало времени, чтобы поговорить в дороге, узнать друг друга лучше. Метро к выставке тогда еще не провели, и дорога на трамвае, метро и снова на трамвае заняла едва ли не полтора часа. В вагонах на друзей посматривали с нескрываемым любопытством, иные даже пальцем украдкой показывали: иностранцы!

Говорили на русском, которым Мария владела значительно лучше, чем показалось в момент задержания. Произносила слова с забавным акцентом, неправильно ставила ударения, и мягкие согласные звучали у нее как твердые, а вместо «е» получалось «э»: «рэшитэлно… бэзпроблэмно… нэгативно…» Иногда, в сложных случаях, переходили на английский, и для Владика это было удивительно: он впервые говорил на иностранном вне занятий и радовался, что собеседница его понимала – да и он ее! А лучше других иностранных наречий болгарка, как оказалось, владела французским – но его ни Рыжов, ни Иноземцев не знали, помимо фраз, почерпнутых в «Двенадцати стульях»: «Же не манж па сис жюр…»

Стоичкова, как выяснилось, проживала в приморском городе Варна, училась в местном университете на инженера-электрика. Ее включили в болгарскую делегацию, приехавшую на фестиваль, потому что она прилично танцевала и была солисткой ансамбля народного танца. Ансамбль давал в Москве целых три концерта. И вообще, для нее СССР – не первая заграничная поездка. Она бывала на гастролях в странах народной демократии – Польше и Венгрии, да еще целый месяц прожила в Париже. А французский знала в совершенстве, потому что у нее дед был француз (сейчас он умер), а мама – преподавательница этого языка в варненской школе.

Друзьям было чем похвастаться в ответ, но не слишком: бывать за границей оба даже не помышляли. Правда, учились они не где-нибудь, а в авиационном, и жили, втроем с Виленом, в самой настоящей мансарде (что мансарда у них с удобствами во дворе, парни умолчали).

– Как тебе Москва? – отчасти в пику задали они ей дежурный вопрос. (Чем может похвастаться ее Варна по сравнению с Белокаменной!) Ждали, что девушка рассыплется комплиментами в адрес столицы мира и социализма. Однако она пожала плечами:

– Добрэ. Кремль е много красива. Но Москва не располага с достатычно кафената, кыдете можете да седнете и да говорите с приятел.

– Ага, – понял Радий, – в Москве кафе тебе мало, где можно с приятелем посидеть. – И подпустил шпильку: – И потому ты с тем бугаем в лес пошла.

У девушки аж слезы на глазах выступили:

– Бих искал неформален разговор с приятел от Русия. Той ме покане да се расходим в парка.

– Чего-чего? – не понял Владик.

– В парк тот бугай ее пригласил, – пояснил более способный к языкам Радий.

В дальнейшем девушка снова перескочила на английский и сообщила, что парень стал грубо приставать к ней, она старалась отбиться, и в самый нужный момент появились они, русские братья. Завершила свой монолог девушка снова по-болгарски, с сильным и искренним чувством:

– Благодаря ви, братя, че ми спаси от него.

Неизвестно, правдой было то, что она рассказала, или нет, но девушке хотелось верить. И взгляд ее был одновременно и невинный, и манящий. Волосы – черные, а глаза светлые, с темным ободком. Владик никогда раньше не видел таких глаз. Он чувствовал, как внутри у него все переворачивается при каждом взгляде на эту девушку. Он, пожалуй, влюбился в нее.

До гостиницы они добрались, когда стало совсем темно. На входе их встретил швейцар, а рядом – дама с многопудовым бюстом и пара комсомольцев в белых рубашках с красными повязками на предплечьях:

– Ваши пропуска, молодые люди!

Белый клочок бумаги – пропуск в гостиницу – имела только Мария, друзей внутрь не пустили самым категорическим образом. Теперь становилось ясно, почему желающим уединяться во время фестиваля приходилось искать укромные уголки в лесах и парках столицы. Болгарка, не смущаясь большого количества посторонних, чмокнула на прощание в щеку своих, как она сказала, «спасителей». а еще позвала их на концерт своего ансамбля и вручила каждому пригласительный билет.

Владик и Радий вышли из «Бурятии» и не спеша отправились назад к остановке трамвая.

– Как думаешь, – задумчиво спросил друга Иноземцев, – она правду сказала насчет того бугая? Что пошла с ним просто поговорить, а он силой напал?

– Да какая разница, Владик?! – удивился Радий. – Нам-то что?

– А то, что мне эта Мария понравилась.

– И ты хочешь за ней приударить? – насмешливо осведомился друг.

– Да, хочу! А ты что, против?

– А я-то при чем? Хочешь приударить – давай, дерзай.

– Ты мешать не будешь? Если будешь, тогда давай драться.

– Ох, нет! Я скромно удаляюсь, – и друг беспечно засвистал.

…Как следствие этого разговора, на концерт ансамбля, в котором участвовала Мария, в клуб электролампового завода явился один Владик. Билет Радия он подарил у входа какой-то толстой девчонке.

Ансамбль в основном исполнял народные болгарские танцы, но имелись в программе и французский танец, и ирландский. И еще они выучили, как сказала их руководительница, специально к фестивалю русскую народную

пляску, украинскую и грузинскую. Мария танцевала хорошо, а в нескольких номерах даже солировала. Владик с замиранием сердца наблюдал, как ее юбка с вышивкой взлетает и плещется вокруг стройных ножек, над сапожками.

Он купил на рынке букет мелких подмосковных роз и лично подарил ей, когда солисты выходили на поклоны. Его, правда, огорчило, что еще два советских парня подарили болгарке по букету – зато после представления, на улице, Иноземцев ждал ее в одиночестве, и они пешком отправились по ночной Москве к ее гостинице «Бурятия». Отмахав несколько километров, где-то на Садовом кольце, Владик неожиданно для самого себя сжал девушку в объятиях и поцеловал в губы. Она ответила на поцелуй.

– Скажи, в болгарском языке есть уменьшительно-ласкательные слова?

– Так. Има. Умалителные.

– И как называют тебя?

– Марче. И еще – Мими.

– А я буду звать тебя Машенька. Или Маруся?

– Машенка лучше. А я тебя – Владе.

* * *

Оставшиеся до ее отъезда дни Владик провел как в бреду. Они использовали каждую свободную минуту, чтобы встретиться. Ежедневно у нее проходили репетиции. Ансамбль дал еще два концерта. В промежутках они ездили на Ленинские горы, в Сокольники, в Парк Горького, на ВДНХ. Ходили в кино на «Девушку с гитарой» и в Большой театр – он достал билеты.

Вечерами много целовались. Тяга к ней у него не прошла, внизу живота все горело, и однажды, на лавочке в темноте, она помогла ему, действуя рукой. А сама, не стесняясь, рассказывала ему о тех парнях, которые у нее были. Даже о двух французах – Пьере и Жаке. И о Василе, который ждал ее в Варне. Странно, но Владик ее не ревновал – как будет вскорости ревновать ко всем

подряд свою жену Галину. Словно раз она иностранка, то совсем другая женщина. Почему-то изначально подразумевалось, что он будет делить Марию с другими мужчинами, и это казалось ему нормальным.

Девушка была весела, легка, беззаботна. Перед самым отъездом он упросил своих друзей-соседей Вилена и Радия провести вечер вне дома – на ночь к себе пригласить все равно не получилось бы, она должна была ночевать в гостинице, руководитель делегации лично проверял каждую комнату. В тот вечер Владик впервые голый лежал в постели с обнаженной женщиной, но самого главного все равно не получилось, она сказала ему, что сегодня не может, и снова помогла ему рукой.

А назавтра он провожал ее у гостиницы. Новенький венгерский автобус «Икарус» отправлялся от входа, и Владик поразился, что практически у каждой танцорши из ансамбля оставался в Москве друг или подруга, приобретенные за время фестиваля. Разумеется, и они с Марией обменялись адресами, пообещали, что будут писать друг другу, и поклялись снова увидеться.

Владик честно держал слово, писал Марии даже с целины. От нее тоже приходили письма, по-русски, с забавными описками.

Но вскоре Иноземцев стал встречаться с Галей Бодровой, затем влюбился в нее и, наконец, женился. Да еще поступил на службу в секретное КБ, где строго запрещалось общение с иностранцами. В итоге не ответил на одно письмо из Варны. Затем на второе.

И Стоичкова тоже перестала ему писать.

Иноземцев часто вспоминал ее – с любовью и благодарностью – и думал, что больше никогда в жизни не увидит.

Как выяснилось, он ошибался.

Прошло два с половиной года

Декабрь 1959-го

Подмосковье

Владик Иноземцев

Чуть ли не с восьмого класса имелся у Владика свой предновогодний ритуал. Когда календарь истончался и шли последние дни декабря, он непременно вспоминал самые яркие события истекающих двенадцати месяцев. Иной раз выдавалась минутка, и он наиболее впечатляющие случаи даже записывал. Например, в пятьдесят первом он как отличник ездил из своего южноуральского Энска в крымский «Артек». А в пятьдесят втором их, школяров, привозили на экскурсию в Москву. В тот год он вдобавок первый раз в жизни по-настоящему влюбился, только об этом никто не узнал, ни предмет воздыханий, ни друзья, ни мама – потому что в ту пору юный Иноземцев был особо застенчив и представить себе не мог, что он кому бы то ни было поведает о своей любви. В пятьдесят третьем умер Сталин, и он вместе со всею школой и всей страной рыдал над утратой – и дивился маме: как она может ходить с сухими глазами, вот выдержка! С тех пор мама кое-что ему рассказала о репрессиях, которые творились в конце тридцатых, и он понял: то была не выдержка, а скорее тщательно скрываемая радость, что скончался тиран, от которого пострадали многие мамины друзья, в том числе академик Королев и ее нынешний муж Аркадий Матвеевич. Другое памятное событие тоже произошло в пятьдесят третьем: Иноземцев поступил в институт – в Московский авиационный, набрав на вступительных приличные баллы. Потом он часто задавался вопросом: как удалось ему, парнишке из провинции, выдержать нешуточный конкурс – больше десяти человек на место? Повзрослев, понял: то была оборотная сторона сталинских репрессий. Все учителя, которые преподавали в его затрапезной провинциальной школе, – и русичка, и математик, и физик, и англичанка – были ссыльными, из Москвы, Ленинграда и Киева. В прошлом один из них служил начальником лаборатории, другой читал лекции в университете, а англичанка переводила книги не только с английского, но и с немецкого, французского и итальянского. Получалось, что сталинские репрессии не только стирали старую элиту в порошок – те, что чудом уцелели, одновременно становились тем плодородным гумусом, на котором взросла новая передовая прослойка (Владик в том числе).

Первые три курса слились для него в плотный ком. Кто говорит, что студенчество – прекрасная пора? Институтские штудии – время вроде неплохое, потому как ты молод. Но зато приходится бороться за жизнь и за место под солнцем: денег не хватало порой даже на еду, требовалось подрабатывать,

а вдобавок разбираться в сопроматах и теормехах, решать бесконечные контрольные, рисовать огромные листы по начерталке. И плюс к тому среди друзей и однокурсников утверждаться, у девушек интерес вызывать.

Радовать жизнь начала в пятьдесят седьмом. Способствовала тому болгарка Мария, и Владик до сих пор вспоминал ее как самое яркое приключение в жизни. Когда после десятидневного романа они расстались, он отдавал себе отчет, что больше никогда ее не увидит. Не то было время, не в тех странах они жили.

В том же пятьдесят седьмом он познакомился, возвращаясь с целины, с Галей – своей будущей женой. На следующий год разгорелся их роман, и это послужило еще одной причиной, почему Иноземцев перестал отправлять корреспонденцию в Варну. Вдобавок в пятьдесят восьмом Владислав начал по-настоящему трудиться в секретном ОКБ-1, имел счастье познакомиться с блестящими конструкторами и проектантами Феофановым, Любомудровым, Флоринским и даже – больше того! – встречался с главным конструктором их «шарашки», секретным академиком и Героем Соцтруда Сергеем Павловичем Королевым. Участвовал (правда, на правах статиста) в том совещании, когда его непосредственный начальник Константин Петрович Феофанов представлял Королеву проектные предложения по будущему кораблю «Восток», на котором в космос предстояло лететь первому человеку[9 - Об этих и других предшествующих событиях читайте в романе Анны и Сергея Литвиновых «Исповедь черного человека».].

Но из всех, что были прожиты, год уходящий, тысяча девятьсот пятьдесят девятый, оказался для Владика, пожалуй, самым запоминающимся. И по количеству событий, и по их масштабу. Начать с того, что он научился прыгать с парашютом ради своей любимой – Гали Бодровой. И после одного из прыжков у нее на глазах сделал ей предложение и подарил фамильное кольцо с бриллиантом. Бодрова согласилась выйти за него, они поженились, у них появился свой первый дом – или, точнее, комната, снимаемая в частном доме в подмосковном Болшеве. А вскоре Галя забеременела и теперь ждала ребенка, сына или дочку.

А еще в этом году благодаря счастливому случаю и письму собственной матери (которая, оказывается, тоже работала с Королевым, только давно, в тридцатых годах), Иноземцев вместе с ним летал на новейшем правительственном лайнере «Ту-104» в Крым. Подумать только, с самим Королевым и с другими людьми, «главными по космосу»: академиком Келдышем, конструктором Чертоком!

И видел своими глазами, как в военный вагончик на склоне крымской горы Кошка пришли из межпланетного пространства первые в мире фотографии обратной стороны Луны.

Однако и ужасное событие в уходящем году случилось. Казалось, ничто не предвещало: они, выпускники МАИ, тогда собрались все вместе, впервые за многие месяцы, дома у Вилена Кудимова – точнее, у родителей его жены Леры. Праздновали ее день рождения. Присутствовали, разумеется, Вилен и Лера. С Тюратама, с южного полигона, приехал закадычный дружок Радий Рыжов. Он прихватил с собой старшего товарища – Юрия Васильевича Флоринского. Заявилась, к нескрываемому неудовольствию Леры, и Жанна Спесивцева, к которой молодой муж Кудимов питал нежные чувства и, похоже, пользовался взаимностью. Там-то и случилось непоправимое: Жанну нашли в спальне молодых Кудимовых с острейшим грузинским кинжалом в сердце.

И началось: допросы в милиции, в прокуратуре, вызовы повесткой. Очные ставки. Даже снятие отпечатков пальцев, как в кино «Дело пестрых». Потом следствие, слава богу, прекратили с резюме «самоубийство». Но осадок остался. Ах, какой нехороший осадок! Словно все они, и Владик в том числе, замешаны в чем-то гадком, отвратительном.

Позже приезжала Жаннина мама, пыталась выяснить правду, явилась к ним с Галей в дом, теребила за больное, мучила. И кто знает, вдруг эта история еще выплывет? Похоже, она, словно мина замедленного действия, так и останется под спудом их жизней – надолго, навсегда. А захочется кому-то раскопать ее, дернуть спусковой крючок, можно будет так замараться – до скончания века не отмоешься.

Однако, как писали в романах тех лет, «Заседание парткома продолжалось – а значит, и жизнь». Галя с Владиком каждодневно ездили из Болшево в Подлипки на работу – близко, одна остановка на электричке. Галя постепенно прижилась в научно-техническом отделе в ОКБ-1. Она потихоньку освоила ракетно-космическую лексику и переводила длиннейшие статьи про космос из «Авиэйшен Уик» – при этом смеялась (разумеется, дома, полушепотом, в присутствии только супруга), почему иностранные журналы, абсолютно свободно продаваемые в Америке, при попадании в стены ОКБ получают гриф ДСП[10 - Гриф «ДСП» – для служебного пользования, самая низшая форма секретности для документов в делопроизводстве в СССР.], а переведенные ею статьи становятся уже «сов. секретными».

Беременность она переносила легко – особенно если сравнить со страшными рассказами старших товарок о «непрерывном токсикозе» или «постоянных капризах и слезливости». Даже не тошнило и особо не тянуло на солененькое. Иногда, правда, приходили в голову странные идеи. Например, вдруг неимоверно захотелось прыгнуть с парашютом. Ощутить это восхитительное чувство полета, снова бросить обнимающий землю взгляд вниз, на поля, дороги, деревья, деревни… Осуществить эту прихоть, конечно, было никак нельзя – кто б ее пустил, да и она не идиотка, понимает, что невозможно на шестом месяце сигать с самолета. Или вдруг другая озарит ее мечта – прыжкам под стать: увидеть генерала Провотворова. Почувствовать его сильную руку на своем локте. Ощутить, как он берет ее за плечи, как нежно, но властно целует в самые губы. И хоть она считала, что последняя прихоть сродни первой – глупая, невозможная, идиотская, неосуществимая, – мысль об Иване Петровиче, в отличие от идеи прыгать, долго не уходила, тревожила, будоражила. И ведь она понимала, что мечты о генерале по отношению к Владику нечестны, постыдны, что она, думая про него, сама становится гадкая, грязная, но ничего не могла с собой поделать. Она была равнодушна к мужу, однако к Провотворову ее тянуло, и идея увидеть его возвращалась снова и снова. И в один из вечеров, когда Владика не было дома, Галя, проследив, чтобы никто из знакомых ее не засек, вошла в телефон-автомат на станции Болшево и набрала номер Ивана Петровича. Он оказался на работе и сразу взял трубку: «Галя?! Вы?! Как я рад! Вы где? Я немедленно выезжаю к вам!» Ей еле удалось отбиться от его напора, и они договорились встретиться назавтра в шесть вечера на Ярославском вокзале. Назавтра была суббота, короткий рабочий день, а Владик задолго предупредил ее, что ему дают вечером «машинное время», то есть возможность поработать на новой БЭСМ-2, которую недавно поставили в смежном НИИ-88, и чтобы она «ждала его к утру».

Выдержанный человек, генерал ни мускулом не дрогнул, когда узрел, что его бывшая подружка в положении. Лишь когда усадил ее в машину – еще более бережно, чем прежде, – отрывисто спросил: «Нужна какая-то помощь? Лекарства? Медработники? Спецпитание? Одежда?» На все вопросы Галя отвечала решительным отказом. Он предложил поехать в ресторан – она категорически отказалась: «Вы что, смеетесь? С таким пузом?» Генерал выдвинул на рассмотрение идею отправиться к нему – Иноземцева и слышать не захотела. В итоге гуляли по заснеженным бульварам, производя впечатление папаши, выгуливающего забеременевшую дочку. И только тут он спросил: «А какой срок?» Она ответила. «Так это мой ребенок?!» Она заплакала: «Не знаю. Я ничего не знаю. Может быть, твой. Но скорее нет – мужа. Прости, но с ним я

бывала больше». Провотворов только скривил свой железный рот. Потом заговорил о пустяках, принялся рассказывать веселое. А под конец свидания сказал: «Меня переводят. Другая должность. Совсем иные задачи; совершенно новое, интересное и секретное дело. Поэтому на службу мне больше не звони. Звони домой, по вечерам – хотя я не каждый вечер теперь смогу бывать дома».

Галя ждала, конечно, другого. Втайне ей мечталось, что генерал, как увидит ее в положении, да еще узнает о ребенке, который, возможно, его, упадет на колени и станет молить навсегда остаться с ним. И даже, может, не отпустит к Владику собрать вещи. Однако Бодрова-Иноземцева недооценила (а может, переоценила) Ивана Петровича. Она плохо знала мужчин. Ему, несмотря на весь его боевой и летчицкий опыт и нынешнюю полную личную свободу, было явно боязно вот так, с бухты-барахты, навсегда связывать себя с новой женщиной, да еще в два раза моложе себя и неизвестно с чьим ребенком под сердцем. К тому же растоптанный тридцатилетний семейный опыт генерала заклинал его больше не верить с ходу никому – даже столь чистому созданию, каким казалась ему Галя. И в то же время он ощущал к ней нежность, и совсем не хотел терять, и мечтал, как станет поддерживать ее, помогать, покровительствовать (неважно даже, чьего она носит ребенка – его или мужниного). Поэтому Провотворов воскликнул – с экспрессией, достойной молодого лейтенанта: «Только не пропадай! Я хочу, чтоб ты была со мной! Я сделаю для тебя все, что ты хочешь, и даже больше! Давай встретимся – ровно через неделю, здесь же! А если вдруг нет – я приеду к тебе на службу! Или явлюсь к тебе в дом! Я плевать хотел на твоего мужа или тем более твоих сослуживцев! Я хочу постоянно видеть тебя!»

Галя не возразила – хотя, если честно, встречей была разочарована, и ей совершенно расхотелось, чтобы генерал крепко брал ее за плечи и целовал, властно и нежно.

Через неделю, перед следующим обещанным свиданием, в пятницу вечером, Галя позвонила Ивану Петровичу из того же автомата на станции Болшево и сказала, что очень плохо себя чувствует и на встречу не придет. Генерал, хоть и был разочарован, не настаивал, а Бодрова почувствовала, что она чудесным образом исцелилась от своих мечтаний и ей совершенно не хочется больше с Провотворовым ни видеться, ни разговаривать, ни тем паче совершать более интимные вещи.

Иноземцев меж тем находился в блаженном неведении и по поводу ребенка, который, возможно, был не его, и относительно жизни, что вела Галя. Он был

весь поглощен своей работой. Часто пропадал не только в родном «королевском» ОКБ-1, но и в соседнем НИИ-88, куда поставили вторую в стране электронно-вычислительную машину БЭСМ-2. Он считал с помощью ЭВМ параметры орбиты будущего первого в мире спутника с человеком на борту. И пытался решить в принципе не решаемую задачу: как добиться того, чтобы в случае отказа тормозного двигателя изделие не просто удержалось земной атмосферой и в итоге достаточно быстро упало на Землю, но и оказалось если не на территории СССР, то хотя бы не в США и не в Западной Европе.

Впрочем, главный конструктор Королев с юности любил завиральные идеи и мудреные задачи. Десятки или даже сотни проектантов и конструкторов работали в тот год над подобными. Всех деталей Владик не знал – секретность есть секретность! – но слышал, что в ОКБ одни столь же молодые ребята, как он, рисуют первые эскизы лунного корабля; другие придумывают корабль марсианский, третьи создают космический самолет, а четвертые прикидывают космолет, на борту которого постоянно действовала бы искусственная гравитация.

Но Королев со товарищи занимался не только отдаленными полуфантастическими вещами. В их «ящике» вершили и другие дела – для каждого из которых существовали сроки, финансирование, ответственные, исполнители. Под каждый проект или изделие выпускалось постановление ГКО (государственного комитета обороны) и/или Совета министров СССР и ЦК КПСС, и за ошибки, просчеты, неудачи или срыв сроков с исполнителей снимали такую стружку или вставляли таких арбузов, что мама не горюй. Гораздо позже, во времена, когда Советский Союз кончился, Владик, читая мемуары или документы, понимал, что в те годы, пролегшие между полетом первого спутника и первого космонавта, то есть с пятьдесят седьмого по шестьдесят первый, Королев, похоже, ни в чем не знал отказа. Хрущев, кажется, тогда с ума сходил от ракет. И давал своему любимчику карт-бланш на любые запуски и эксперименты. Финансирование тогда не являлось проблемой. Находились деньги на все, что угодно, лишь бы мы оставались в космосе первыми, лишь бы в очередной раз уязвить «американов», поразить прогрессивное человечество и заставить советских людей гордиться собственным государством. Время такое было – как с лихой гордостью писал в том самом пятьдесят девятом двадцатипятилетний поэт Андрей Вознесенский: «Я тысячерукий – руками вашими, я тысячеокий – очами вашими! Я осуществляю в стекле и металле, о чем вы мечтали, о чем – не мечтали!» Их ОКБ отправляло в полет ракеты, пока беспилотные, на Венеру и Марс. (Только много позже Иноземцев узнал, что два пуска на Марс закончились тогда неудачей, что было три попытки «выстрелить»

в сторону Венеры, но только две станции улетели в сторону загадочной планеты.) А смежные отделы королевской «шараги» разрабатывали чисто военные спутники – для шпионских целей: фотографирования поверхности Земли – территории вероятного противника. И создавали спутники связи.

А ведь Королев в области ракет работал не один: в Днепропетровске творило КБ и завод под руководством академика Янгеля. И в подмосковном Реутове, в «почтовом ящике» под руководством Челомея, тоже делали боевые ракеты…

Что было бы, думал Иноземцев много позже, если бы Хрущев в конце пятидесятых не сходил с ума по ракетам? Если бы страна свои деньги, силы и финансы направила на более житейские дела: на мясо и молоко, кофточки и автомашины? И согласилась бы с приоритетом США? И в космос первым полетел бы не советский человек, а американец? Может, без космических побед, но в большем достатке русский народ оказался бы счастливее? Однако история, как известно, не знает сослагательного наклонения, а подобный вариант развития Иноземцеву, несмотря ни на что, совсем не нравился. Деньги, направленные на сельское хозяйство и легкую промышленность, при советском строе все равно ушли бы в песок. А мы все и наши потомки лишились бы своей едва ли не главной национальной гордости – полета в космос, который совершили первыми. В конце концов, есть в мире такие люди и такие нации, вроде русских: пусть мы жили впроголодь и в туалет на улицу бегали, а смотрели на звезды и тянулись к ним – и все человечество за собой в итоге тянули.

В конце пятьдесят девятого Владислав на эти темы не размышлял. Да и если б вдруг задумался, они б ему антисоветскими показались – как многие разговоры, что вел его старший товарищ Флоринский. Иноземцев был тогда одной из маленьких шестеренок, которые в составе огромнейшего и сложнейшего механизма занимались тем, что до них не делал в целом мире никто: создавали изделие, которое унесло бы в космос советского человека. И ради этого Владик готов был пропадать на работе в Подлипках – в своем ОКБ-1 и соседнем НИИ-88 – сутками. Если честно, Дело ему было интересно гораздо больше, чем даже беременная жена и будущий ребенок.

В те времена не существовало долгих новогодних каникул. Тридцать первого декабря обычно работали – правда, перед уходом со службы зачастую наскоро накрывали столы и выпивали по паре рюмок. Первого января отдыхали, и даже Королев на предприятии не появлялся, только звонил дежурному, как дела. Зато

второго страна снова вставала на трудовую вахту. Правда, в шестидесятом году второй день в году выпадал на субботу – то есть на короткий рабочий день, а третье и вовсе было воскресеньем. В иные времена (в те же семидесятые, что греха таить) многие второго взяли бы отгул. Однако подобное трудно было представить в шестидесятые, тем более в королевском «ящике». Иноземцев, к примеру, планировал погулять в новогоднюю ночь, а потом поспать, но часам к десяти первого числа совершить набег к БЭСМ-2, где ему как раз выделили время.

Утром тридцать первого его вызвал непосредственный руководитель, начальник сектора «Ч» (что означало «человек») Константин Петрович Феофанов. «Наверное, поздравить, – решил Владик, – но почему меня одного?» Однако Феофанов в своем кабинетике выглядел хмуро, смотрел в сторону. «Что-то случилось», – подумал Иноземцев.

– Меня ЭсПэ вызывал, – начал без предисловий начальник. «ЭсПэ» все в ОКБ за глаза по имени-отчеству называли Королева. Тогда вообще была эпоха сокращений: Феофанов звался «КаПэ», Раушенбах – «БэВэ», а Черток – «Бэ-Е», и все понимали, о ком идет речь. Иноземцев в ту пору до подобного уважительного сокращения еще не дослужился, пребывал для коллег и руководства просто Владиславом. Между тем начальник продолжил: – Главный попросил передать вот это. Лично тебе.

И достал из ящика стола пузатую бутылку шампанского. Этикетка оказалась непривычной, желтого цвета, и буквы на ней были иностранными. Иноземцев никогда подобных «снарядов» не видывал.

– Спасибо, конечно… – пробормотал он. – Но чем я заслужил?

– А вот этого ЭсПэ мне не поведал. Спроси у него сам.

В тот миг Владик понял, что Феофанов просто его ревнует – к странным контактам, которые за спиной начальника он, один из молодых сотрудников – в отделе без году неделя! – имеет с самим Главным конструктором.

– Давайте вместе разопьем, – неуверенно предложил молодой человек. – Сегодня, в отделе?

– Не люблю шипучки, – отрезал Константин Петрович и углубился в расчеты.

Что оставалось делать Иноземцеву? Только пробормотать «спасибо», взять «шампань» со стола и тихо исчезнуть.

– С бутылкой по отделу не расхаживай, – бросил на прощание КаПэ. – В газетку заверни.

«Мог бы и не указывать, сам знаю», – проворчал про себя Владик. Он засунул бутылку за пояс и прикрыл сверху фуфайкой. Получалась на вид легкая беременность, как у Галки пару месяцев назад.

У себя он незаметно спрятал подарок в стол – однако история французского шампанского, вдруг пожалованного ему с самого высокого верха, не давала покоя. Он решил выйти из отдела, поискать Флоринского.

Юрий Васильевич снова вернулся с полигона в Тюратаме в Подлипки и опять едва ли не половину рабочего времени проводил в импровизированной курилке на лестнице: бродил, думал, мычал, потирал руки и всюду разбрасывал пепел. К Владику он снова потеплел, и они частенько обсуждали игру московских «Спартака» и «Торпедо» (уже без посаженного Стрельцова), шансы советской футбольной сборной на предстоящем первом чемпионате Европы, а также – наших хоккеистов на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Флоринский, соратник ЭсПэ еще со времен планеров в Коктебеле, знал о подводных течениях в ОКБ многое и был накоротке с большинством заместителей Главного и начальниками отделов. Слава богу, Юрий Васильевич как раз бродил по площадке со своим «Беломором». Владик заговорщицки взял его за плечо и поведал историю о нежданном награждении «бутыльментом». Флоринский показался заинтригованным, хмыкнул: «Растете, юноша!» – и пообещал узнать, откуда вдруг взялся сей ценный подарок.

Примерно через час, когда Владик ломал голову над последними результатами расчетов будущей траектории изделия «Восток», Марина, сидевшая в отделе на местном телефоне, позвала его к трубке.

– Вас вызывает Таймыр! – Веселый голос Флоринского процитировал название популярной песни Галича (тогда еще совсем не барда и не диссидента, а успешного драматурга). – Явитесь к месту сбора с теплыми вещами!

«Место сбора, с теплыми вещами» означало – лестница-курилка. Владик поспешил туда – Юрий Васильевич как раз раскуривал свою тридцатую за день папиросу.

– А теперь расскажите мне, юноша, – без предисловий начал Флоринский, – какое отношение вы имеете к фотографированию обратной стороны Луны?

Молодой человек покраснел – он никому (за исключением юной супруги) не рассказывал удивительную историю, как летал вместе с самим Королевым в Крым, на станцию дальней космической связи. В его скромности сыграли роль два фактора: нежелание себя выпячивать и привычка, чуть не с молоком матери приобретенная, «не выдавать лишнюю информацию».

– Какое я имел отношение? – попытался и дальше валять ваньку Иноземцев. – Да такое, как все сотрудники нашего «ящика». Поддерживал ударным трудом…

– Рассказывай! Трудишься ты на совсем другом направлении и в другом отделе, – усмехаясь, парировал Юрий Васильевич. – Колитесь, юноша. Чистосердечное признание облегчит вашу участь.

Тогда Владик решился. В конце концов, Флоринский – один из самых близких ему людей в КБ, они даже сегодня Новый год договорились вместе встречать. Но рассказывать все следовало с самого начала, и он отвел старшего товарища к дальнему окну и полушепотом поведал все: про маму, некогда, еще в тридцатых, трудившуюся с Королевым сначала в ГИРДе, а затем в РНИИ; про ее письмо на имя «ЭсПэ», что она передала сыночку; про то, как он подлез с этой корреспонденцией к Главному конструктору, а тот неожиданно пригласил его в самолет, летевший в Крым, на сеанс космической связи с «Луной». И как Владик (правда, из-за спин старших товарищей) одним из первых в мире узрел изображение обратной стороны естественного спутника Земли. «Но при чем здесь шампанское?!» – воскликнул он напоследок.

– А при том, мой юный друг! Услуга за услугу, как говаривал старший майор НКВД Пилипчук своим подследственным. Поделитесь продуктом, пожалованным вам с барского плеча?

– Заметано, тем более мы с вами Новый год вместе встречаем!

– Итак! Повесьте ваши уши на гвоздь внимания. Один французский миллионер (как мы знаем, они там, на загнивающем Западе, все с жиру бесятся) учредил со своих капиталов приз: несколько ящиков шампанского для того (или для тех), кто первыми увидят оборотную сторону нашей ближайшей соседки. И мусью сдержал слово! Когда он узнал, что наша «Луна» первой сфотографировала загадочную Селену, он подарил бутыльменты нашей Академии наук. Советские академики оказались людьми благородными (Владик подумал об академике Келдыше, который вместе с ним и Королевым летал тогда в Крым) и, заначив для себя бутыль-другую, оставшийся продукт передали в наше КБ. А ЭсПэ – мужик, как известно, широкий – раздал шампань причастным: Чертоку, Воскресенскому, Осташеву… И непричастным, вроде тебя, досталось. Наш Главный ведь все про всех всегда помнит. Так что с Новым годом тебя, старичок.

– Грандиозно, – прошептал молодой человек. – Тогда я мамочке бутылку отдам. Ведь, если быть честным, когда б не ее письмо, я точно с Королевым в Крым не слетал бы.

– Минуточку, гражданин! Вы противоречите сами себе. Вы только что пообещали, что мы разопьем шампань вместе. А теперь – мамочка. Мама, конечно, дело святое, но как же наш договор?

– И впрямь я зарапортовался. Простите, Юрий Васильич. Но знаете что? Можно мы к вам сегодня придем с мамой вместе? Ей одной сидеть у нас дома совсем неинтересно – у нас даже радио нет. А нашей компании она совсем не помешает. А, Юрий Васильич?

– Как имя-отчество мамаши? – деловито спросил Флоринский. – Какого года рождения?

– Я знаю, – засмеялся Иноземцев, – вы предпочитаете гораздо более юный контингент. Она у меня с девятьсот восьмого года. А зовут Антониной Дмитриевной.

– Антонина Дмитриевна? Значит, Тоня? – Юрий Васильевич на минуту задумался. – Что ж, приводите и маму, юноша. А главное, не забывайте свою очаровательную беременную жену и вышеупомянутую бутылку шампанского.

* * *

Наступление Нового года Галю Бодрову-Иноземцеву едва ли не впервые в жизни не радовало. Чего веселиться-то? Во-первых, в гости пожаловала свекровь. И без того в домике, что они снимали, не слишком много места, а теперь и вовсе не развернешься. Антонина Дмитриевна спала на дореволюционном диване в «гостиной», отделенной от «спальни» занавеской. А Владька, будто не понимая, каждую ночь приставал со своею любовью – и без того ей никакой любви от него не хотелось, а тут прикажете ерзать и скрипеть практически в метре от свекровиного ложа. Галя попытки мужа отбивала – а тот как будто и не устает на работе, приезжает на последней электричке (или даже на первой утренней!) – и лезет со своими ласками! Он обижался, сердился.

Вдобавок свекровь если не холодна с невесткой была, то и не тепла – точно. Всю посуду расставляла по-своему, печку пыталась топить собственными методами, готовила по личным рецептам. Хорошо, не читала Гале нравоучений – если разногласие меж ними возникало, просто поджимала губы и замыкалась.

Словом, если учесть все неприятности, скопившиеся вокруг, то станет понятно, что Галя чувствовала одно: как ей все опротивело! И беременность – никакого радостного предвкушения, только тяжесть, боль и страх. И работа – когда она была училкой, то от школьников получала положительные эмоции: ребята ее подзаряжали, веселили, делали труд значительным. А тут, в ОКБ, сидишь, как червь, переводишь скучные американские журнальчики. И домик этот съемный надоел – с утра и с вечера приходится топить печку, иначе замерзнешь, и посуду мыть в тазу, в воде, нагретой на печи, – а от Владика помощи не дождешься, он все на работе пропадает. И муж, честно говоря, тоже надоел – да и не люб он. С утра до вечера на службе, а потом, как автомат, быстро-быстро рубает приготовленное и юркает в постель, пристает со своими ласками. А потом – сердится, не понимает, как ей плохо. И слова от него не дождешься, потому что мысли у него заняты только делом, а про него супруге не расскажешь: во-первых, секретность, во-вторых, что она понимает в траекториях небесных тел и космических аппаратов?..

Оставалось только мечтать о прошлом, когда она, легкая и свободная, как птица, в компании парней-парашютистов – вежливых, словно древние рыцари, – летала в вышине и наслаждалась молодостью, светом, небом, поклонением! А теперь – даже о будущем не получается ностальгировать, потому что куда денешься от новой жизни, которая у нее в животе пробует силы: ворочается,

толкается, сучит ножками? Дитя скоро родится – и конец свободной, беззаботной жизни наступит навсегда. Вряд ли хотя бы разик с парашютом удастся снова прыгнуть, ведь все на дыбы встанут – и муж, и свекровь, и собственная мама, да и ребеночек наверняка не порадуется из-за того, что мама на аэродром вдруг засобирается! И, кстати, никакой обещанной радости, любви или умиления она по отношению к своему будущему чаду пока не испытывала. Может, она скверная, ужасная мать?

Как бы то ни было, грядущее виделось ей тоскливым, унылым и серым: стирать пеленки, варить мужу щи, топить печку. Никаких иллюзий по части собственной карьеры в ОКБ она не питала – да и какая там может быть карьера: стать начальницей отдела? Зачем? Чтобы не переводить самой, а раздавать переводы исполнителям? Чтобы штудировать совсекретные сводки «белого ТАССа» и обзоры смежников по ракетной тематике, а потом писать выжимки для ЭсПэ и прочего руководства? Иногда ей собственное положение казалось тупиком, из которого нет выхода. А сама она представлялась себе пленницей. И в плен ее взяло все на свете: съемный дачный домик с русской печью, увлеченный службой муж, будущий наследник, свекровь…

Вот и сегодня. Тридцать первого декабря у нее на душе всегда, сколько себя помнила – даже в войну! – царило радостное настроение, предвкушение чего-то нового, неожиданного, необыкновенного. Хотя бы – грядущих подарков. А сейчас – день как день, будний, серый, унылый. От «сабантуйчика» на работе, который устроили девочки в конце дня, она отвертелась: какая ей радость вместе с ними поздравляться, если даже выпить нельзя! Поехала срочно домой – доделать винегрет. Два основных блюда, которыми собирались отмечать празднество у Флоринского, поручались Иноземцевым: соорудить студень да винегрет. Спасибо, свекровь взяла на себя холодец – однако огромную кастрюлю винегрета предстояло нарезать Гале. Молодец она, что заранее сварила для коронного советского блюда овощи: свеклу, картошку и морковь.

Молодая женщина вернулась с работы около шести, привычно затопила печку. Зимой ее требовалось растапливать дважды в день, иначе тепло выдувалось. Никого дома не было: муж, видать, отмечал на работе; свекровь усвистала по магазинам – сегодня, в последний день года, торговля ради выполнения плана выбрасывала в продажу лучшие товары. Хозяйничать Гале пришлось одной – даже минут пятнадцати после прихода не полежала, хотя хотелось: спина болела и живот тянуло. Однако время поджимало, и Иноземцева бросилась резать вареные овощи.

Свекровь и муж явились одновременно, около восьми, на одной электричке, оказывается, ехали – она из Москвы, он подсел в Подлипках – и встретились на станции. Оба выглядели довольными, свеженькими. От Владика попахивало спиртным – отметили, значит, на работе. Свекровь явилась с покупками: Владику добыла китайскую рубашку-ковбойку, а Гале – платье. Сказала: «Это вам подарки к Новому году». Пришлось благодарить, целовать – а на сердце ком: она даже оценить платьишко не сможет, сейчас мерить – не налезет, как свекровь не понимает? Да и потом, если до рождения ждать: бывает, женщины расплываются, ни во что прежнее не влезают. А свекровь еще и подбодрила, ничего не скажешь: «Если вдруг поправишься после родов, ничего страшного, я сама тебе его расставлю». Супруг принес бутылку диковинного шампанского – французского. Сказал, что обязательно надо будет его сегодня у Флоринского выпить. Хотел рассказать историю, откуда оно у него взялось, – но женщины обе отмахнулись: не до баек теперь, до Нового года три с небольшим часа, а винегрет еще не готов!

Хвала всевышнему, свекровь была не из белоручек и немедленно бросилась Гале помогать. В четыре руки работа пошла веселее. Однако немедленно возник спор: добавлять ли лук? А зеленый горошек? И довольный Владик тут как тут, говорит: «Мама, мы возьмем тебя с собой. Я договорился с хозяином. Что ты одна здесь будешь сидеть? У нас ведь не то что телевизора, радиоприемника даже нет». – «Ну и прекрасно, побуду, отдохну, почитаю, выпью сама с собой». – «Нет-нет, я обо всем договорился, тем более хозяин – человек практически твоего возраста, да и остальные гости будут все свои».

– А кто, кстати, придет? – уцепилась за последнюю фразу Галя.

– Да наши все, из «ящика».

– Кудимовых не будет?

– Нет. Они ведь не наши.

После ужасного случая в квартире Старостиных – гибели Жанны – Иноземцевы больше ни разу не виделись ни с Виленом, ни с его молодой супругой Лерой. Отношений не выясняли, просто прекратили всяческое общение. И Галя, и Владик молчаливо полагали, что в смерти Спесивцевой повинна, если не прямо, то косвенно, эта семейка – Вилен и Лера.

– А кто придет?

– Тебя ведь женский пол интересует?

– Допустим.

– Зина, наверно, зайдет из нашего отдела. И Марина.

– Та самая? – неприязненно осклабилась Галя. Она не отрывалась от резки, на дощечке росла гора свеклы.

– Что значит – та самая? – немедленно окрысился в свою очередь Владислав.

– Та самая, что пирожки тебе таскала.

– Она всем таскала. И не только пирожки, но и другую снедь. Любит человек готовить.

– Слушай, а может, я тогда не пойду? – вдруг сорвалась молодая жена. – Сами, без меня отметите? А я тут с твоей мамой побуду?

– Галя, Галя, о чем ты? – укоризненно воскликнул будущий папаша и попытался заключить супругу в объятия – она вырвалась.

– Дети, не ссорьтесь! – голосом воспитательницы детского сада проговорила Антонина Дмитриевна. – Вы что, забыли? Как встретишь Новый год – так его и проведешь. Давайте-ка, не ругайтесь – как там в песне поется: мы за мир, за дружбу, за улыбки милых! И, пожалуй, да, я поеду с вами встречать. А не то вы там, чего доброго, перекусаете друг друга.

К десяти покончили с винегретом, нагрузили в кастрюлищу, замотали крышку тряпицей, поместили в авоську. Марлей прикрыли огромный таз со студнем – его требовалось нести в обеих руках, и емкость поручили Владику. Свекровь тащила в сумке бутылки: невиданное французское шампанское и армянский коньяк. Отправились на электричку – слава создателю, ехать было недалеко, всего одна остановка. Народу в поезде было мало, но все улыбались друг другу и поздравляли с наступающим. К одиннадцати добрались к Флоринскому.

Дверь открыл не хозяин, а какой-то незнакомый мужик с бородой, богемного вида. Объяснил: «Юрий Васильевич сражается с магнитофоном». Магнитофоны в ту пору были редкостью, весили пару десятков кило и воспроизводили запись с магнитной ленты, намотанной на огромную бобину – тем они были сродни ЭВМ, запоминающие устройства которых действовали по подобному принципу.

Семейство Иноземцевых разделось в крошечном коридорчике, поправило прически перед зеркалом и прошло в гостиную. Навстречу от звукозаписывающего аппарата оторвался хозяин.

Владик, как светский господин, представил:

– Это, Юрий Васильевич, моя мама, Антонина Дмитриевна Иноземцева. А это, мамочка, мой старший товарищ по работе, Юрий Васильевич Флоринский.

Реакция на представление оказалась неожиданной: мама побледнела, как полотно, на ватных ногах доковыляла до стула, села на него – и лишилась чувств.

* * *

Обморок, случившийся с мамой, когда они вошли в жилище Флоринского, поразил всех. Владик кинулся к ней. Галя бросилась в кухню, притащила воды в чашке, стала протягивать Антонине Дмитриевне – та не реагировала, сидела свесив голову набок. Тогда Флоринский отобрал у Гали сосуд, набрал воды в рот – и прыснул на маменьку, словно брюки гладил. Она дернулась и очнулась. Проморгалась, осмотрела всех столпившихся вокруг нее и проговорила:

– Извините, что-то мне вдруг нехорошо стало.

Гости вокруг заговорили наперебой:

– Может, таблетку? Валокордин, нитроглицерин? Вызвать «Скорую»? Выйдете на улицу? Не будоражьте вы ее, ей надо прийти в себя!

И лишь хозяин после своего удачного трюка с фырканьем молча, словно Чайльд-Гарольд, сложивши руки, отошел в сторону.

– Простите! – отчетливо проговорила мама. – Вот ведь – явилась на вечеринку, старая кляча! Вы меня извините, ради бога, за доставленные хлопоты. Уверяю вас, мне значительно лучше, и я вас больше не обеспокою! – и, подтверждая свои слова, Антонина Дмитриевна поспешно привстала с кресла.

– Мама! Не суетись ты! – воскликнул Владик.

– Абсолютно ничего страшного! – она похлопала его по плечу своей легкой ручкой. – И давайте, товарищи, отвлекитесь от моей персоны. Мне, право, и без того очень стыдно, а вы своим углубленным вниманием и вовсе заставляете меня краснеть. Ровным счетом ничего страшного не случилось. Скоро Новый год, – она глянула на часики, – осталось сорок минут, пора садиться провожать уходящий. Скажите мне, милые барышни, где в этом гостеприимном доме находятся тарелки-вилки?

В хозяйстве у Флоринского нашелся трофейный сервиз, разрисованный маркизами-графинями, поэтому винегрет переложили из кастрюли в супницу, а для холодца нашлось огромное блюдо. Владик с облегчением отметил про себя, что с мамой все в порядке и она включилась в хлопоты по хозяйству. Расставили бокалы, рюмки, пепельницы – в хозяйстве Юрия Васильевича сосуды имелись хрустальные, что странно оттеняло внешнюю неприкаянность и пренебрежение к одежде, которыми славился Флоринский.

Телевизора у хозяина не было, хотя он прекрасно мог себе его позволить. Включили радиоприемник. Водочкой и коньяком проводили уходящий, пятьдесят девятый. Ждали курантов. И вот, наконец, они зазвучали. Бросились открывать шампанское – Владик свое, наградное, французское, а хозяин – советское, из Абрау. Хлопнули пробки. Начали бить часы. «Ура!» – закричали все и принялись чокаться. Зазвенели бокалы. Французское шампанское показалось всем, особенно девушкам, чрезвычайно кислым. Галя, которая тоже позволила себе, несмотря на положение, пару глотков, сморщилась, словно от лимона: «Ну и кислятина!» В итоге бутылку «Вдовы Клико» допили вдвоем Владик и Флоринский.

Сразу после курантов все закурили – тогда обычно дымили прямо за праздничным столом. Не пожалели даже беременную Галю – хотя она сама, конечно, к сигарете не тянулась, успела бросить. Сигарет с фильтром в СССР в ту пору не выпускали. Мужчины смолили папиросы «Беломор» и «Герцеговину Флор», сигареты «Лайку», «Новость». Девушки предпочитали болгарские «Фемина» – из красной пачки, тоненькие, длинные. В девичьих пальчиках со свежим маникюром они смотрелись чрезвычайно стильно.

Галя вздохнула. Ничего-то ей, бедненькой, нельзя: ни прыгать с парашютом, ни покурить, ни выпить – и еще долго будет запрещено. Она совсем не чувствовала радости от своей беременности – тем более вон Владик на нее, разбухшую, почти внимания не обращает, на свою Марину, проститутку липучую, все чаще поглядывает. И другие мужчины – Флоринский и импозантный бородач – смотрят на нее, словно она мебель или корова какая-нибудь. А Провотворов с Новым годом ее даже не поздравил – она, конечно, хотела прервать с генералом всяческие отношения, да и следовало это сделать, а все равно, когда он исчезал, становилось обидно.

Компания покурила и принялась выпивать и закусывать – кроме винегрета с холодцом, на столе имелась черная и красная икра и сырокопченая колбаса, в ту пору еще продававшиеся без ограничений. Марина и две другие девушки из ОКБ (одна, Зина, очевидно, предназначалась художнику Олегу, другая, Нина, была постоянной сожительницей Флоринского) сварганили огромную бадью пирожков – с грибами, капустой, рисом и яйцами. Наконец, утолив голод и жажду общения, встали из-за стола. Всем не терпелось рассмотреть чудо техники – магнитофон «Днепр-девять» весом под тридцать кило и вышиной полметра. Напрасно, наверно, советские власти дозволили в стране звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру (думал много позже Владик). Сколько за свою жизнь крамолы и полукрамолы услышал он из этих ящиков – а вместе с ним и миллионы жителей СССР! Вот и сейчас репродуктор с жизнерадостными советскими песнями выключили и поймали запретный американский джаз. Затем хозяин, известный как исполнитель песен под гитару, воскликнул:

– Все, товарищи, я вам больше петь не буду! За меня это сделает он, – и Флоринский ласково похлопал агрегат по деревянной полированной стенке. И проанонсировал: – Мне дали переписать выступление молодого артиста, зовут Владимир Высоцкий. Он еще студент, кажется, но поет сильно, – и Юрий Васильевич, щелкнув клавишей, пустил ленту.

Имя Высоцкого тогда никому и ни о чем не говорило. Молодой хрипловатый голос запел:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,

в языкознанье знаете вы толк,

а я простой советский заключенный,

и мне товарищ – серый брянский волк[11 - Стихи Юза Алешковского.].

А потом:

Как утону я в Западной Двине

Или погибну как-нибудь иначе –

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут[12 - Стихи Геннадия Шпаликова.].

Или совсем необыкновенное:

Получил завмагазина

Триста метров крепдешина,

Был он жуткий жулик и прохвост.

Сорок метров раздарил он,

Тридцать метров разбазарил,

Остальное все домой принес[13 - Стихи Владимира Высоцкого.].

Иногда прерывались, чтобы выпить коньяка или водки, потом начали слушать Окуджаву. За столом царила анархия: кто-то выпивал без тоста, закусывал грибком или винегретом. Кто-то вполголоса делился впечатлениями от услышанного. Владик исподволь наблюдал за гостями. Чуткий по природе, он без слов мог угадать многие взаимоотношения, складывающиеся в комнате. Например, замечал взгляды, полные страсти, которые бросал художник Олег на девушку Зину. Иноземцев понял: дело склеивается, и пусть не сегодня, но

вскоре парочка окажется в одной постели.

Не оставил он без внимания пару задорных взглядов, что бросила когда-то запавшая на него Марина, – они как бы говорили: ты женат, Владик, но ничего страшного, можно еще все переиграть, если захочешь. Обратил внимание и на уничижительные взоры, что его Галина метала в сторону соперницы. Однако загадкой для него оставались быстрые и легкие взгляды украдкой, которыми порой, втайне друг от друга, обменивались его мама и Флоринский. Отвернется Юрий Васильевич – Антонина Дмитриевна на него глянет, а когда она не замечает – он ее пристально рассматривает.

Когда интерес к песням ослабел, Флоринский воскликнул: «А теперь, товарищи, я предлагаю записать звуковое письмо – самим себе! С пожеланиями, как мы проведем предстоящие двенадцать месяцев, чего хотим, чего добьемся! А через год, первого января шестьдесят первого, снова соберемся, прослушаем запись и подведем итоги: что удалось, что нет!» Владик подхватил – он часто развивал чужие идеи и шутки: «А тех, кто не выполнит за год личные соцобязательства, мы сдадим в журнал «Крокодил». Или оставим на второй год!»

Предложение Флоринского все приняли с энтузиазмом. Магнитофоны в ту пору были редкостью, и мало кто из собравшихся хотя бы раз слыхал собственный голос со стороны.

– Начну на правах хозяина я сам, – Юрий Васильевич подключил микрофон, а затем поднес его ко рту, нажал кнопку записи и проговорил с долей торжественности: – Итак, я мечтаю, чтобы в наступившем шестидесятом году наша страна, Союз Советских Социалистических Республик, запустила в космос первое изделие с человеком на борту!

Все зааплодировали. А хозяин подсунул микрофон художнику, и тот быстро промолвил:

– Что касается меня, то я мечтаю, чтобы наши олимпийцы успешно выступили в Скво-Вэлли и Риме, а футболисты выиграли первенство Европы. А если говорить о себе лично, то я сплю и вижу, что закончу задуманный цикл своих картин, а одна прекрасная девушка станет моею, – и он бросил многозначительный взгляд на Зиночку. Зиночка заалелась, словно маков цвет.

Художник придвинул аппарат к Владику, и тот проговорил:

– А я мечтаю, чтобы были здоровы и счастливы мои мама и супруга, а еще, чтобы Галя родила мне богатыря (или богатыршу)!

Снова зазвучали смех, аплодисменты, Иноземцев передал пластиковую коробочку на шнуре своей юной супруге, и та молвила серьезно:

– А я – я мечтаю о свободе. И – о небе. И в наступающем году я снова хотела бы летать. И прыгать.

От Владика не укрылось, как встретила пассаж невестки Антонина Дмитриевна: поджала в ниточку губы – что для нее означало высшую степень неудовольствия – ни слова ни о муже, ни о будущем первенце! Напротив, затеяла разговор о своих опаснейших парашютах!

Микрофон у Гали едва не вырвала Марина и произнесла, очевидно, ей в пику:

– А я мечтаю в шестидесятом выйти замуж за хорошего парня и родить ему замечательного сына – или, может, дочку.

– Браво, девочка! – негромко, но отчетливо проговорила Антонина Дмитриевна – тоже отчасти в укор свободолюбивой невестке.

Затем пришла очередь Зины, и она сказала звонко, словно на комсомольском собрании: «А я хочу, чтобы был мир во всем мире!» Ее подружка Нина, девушка Флоринского, подхватила: «Да, пусть никогда не будет войны!»

Наконец, микрофон протянули маме. И Антонина Дмитриевна Иноземцева молвила отчетливо, словно радиодиктор, и от души – так, что после ее реплики все снова зааплодировали: «А я хотела бы, чтобы были здоровы и счастливы все мои близкие: сын Владислав, муж Аркадий Матвеевич, мама Ксения Илларионовна, невестка Галина и мой будущий внук или внучка! А также все здесь присутствующие!»

Потом, разумеется, компания прослушала, что наговорили, и каждый дивился, насколько собственный голос отличается от того, каким человек его слышит.

Физик Флоринский объяснил, ясно и доходчиво, причину этого эффекта, а затем поставил новую бобину – американский рок. Две девчонки, Марина и Нина, немедленно схватились за руки и стали выдавать настоящий рок-н-ролл, художник подхватил свою пассию Зиночку – а больше танцевать заморскую стиляжью новинку никто не умел. Владик с завистью посматривал на бацающих рок гостей. Потом его схватила за руку Марина, начала учить (а Зиночка – Флоринского). Когда музыка кончилась, Иноземцев жадно припал к компоту из сухофруктов и не заметил, как Марина пошла на кухню, а следом за ней туда отправилась его супруга. И он не слышал, как внушительно Галя проговорила, зло уставившись прямо в зрачки пигалице:

– Если ты не заметила, Владислав женат. На мне. Поэтому держись от него подальше.

– Подальше? А иначе – что? Что будет? – дерзко спросила девчонка.

– Сама увидишь, – смутно, но жестко ответила Иноземцева. Несмотря на беременность, угроза, исходившая от нее, показалась не эфемерной, а весьма внушительной. Марина отвела взгляд и фыркнула:

– Сама за своим Владиком следи! Я не виновата, что он мной интересуется! – и выскочила из кухни.

Вскорости именно Марина первой засобиралась домой. Часовая стрелка подбиралась к четырем, скоро в сторону Москвы шла первая электричка. Вместе с нею хватилась и Зина, которую вызвался провожать художник. Компания на глазах мелела.

– Мы, пожалуй, тоже пойдем, – проговорила бледная беременная Галя. – В сторону Болшева тоже скоро первый поезд.

Они втроем – Галя, Владик и Антонина Дмитриевна – стали собираться, полагая, что Нина, как девушка Флоринского, останется у него. Но хозяин вдруг бесцеремонно сказал ей: «Я, пожалуй, сам все разгребу, а ты езжай, они тебя проводят до станции». На глазах у Нины вскипели слезы, однако она послушно пошла одеваться.

Когда Иноземцевы и Нина были уже экипированы (не забыв пустые емкости от винегрета и холодца) и выходили на лестничную площадку, хозяин вдруг схватил за руку Антонину Дмитриевну:

– А ты, пожалуйста, останься, – и удержал маму в квартире, бесцеремонно захлопнув входную дверь за остановившимися в недоумении молодыми людьми. Так они втроем и пошлепали в сторону платформы. Нина всю дорогу шмыгала носом и утирала слезы – а Галя даже не находила слов, чтобы ее утешить, настолько странным показалось ей поведение Флоринского.

* * *

В это же время, в новогоднюю ночь, когда Советский Союз встречал год тысяча девятьсот шестидесятый, в противоположном конце Московской области, на персональной даче в Барвихе, собралась семья Кудимовых-Старостиных. За праздничным столом их оказалось всего четверо: двое молодых, Лера и Вилен Кудимовы, и родители Валерии – Федор Кузьмич и Ариадна Степановна Старостины. Столь узкий круг объяснялся важной причиной. После того как в октябре в квартире Старостиных, на праздновании дня рождения Леры, погибла одна из приглашенных, молодые перестали звать в дом друзей и подруг. Справедливости ради надо сказать, что после происшедшего никто к ним и не стремился. Друзья перестали звонить и искать общества Леры и Вилена.

Но гораздо серьезней, чем бойкот со стороны бывших однокурсников, на Кудимова подействовало изменившееся отношение на службе. Злые языки, как говаривал гений дворянской России Грибоедов, оказались страшнее пистолета. Официально никаких претензий Вилену не высказывали, вдобавок тесть Федор Кузьмич постарался всячески уменьшить влияние инцидента на дела рабочие – как у себя в «ящике», где возглавлял партком, так и на службе у зятя. Однако начальство все равно стало посматривать на Кудимова косовато. А перед самым новогодьем, тридцатого, его вызвал начальник отдела подполковник Варчиков, предложил сесть и проговорил следующее:

– Товарищ лейтенант, вы хорошо зарекомендовали себя за время службы. Поэтому принято решение поручить вам задание особой важности. Из оперативных источников нам стало известно, что главный противник предпринимает в настоящее время экстраординарные усилия к тому, чтобы

внедрить (либо завербовать) агента на нашем ракетно-космическом направлении. Больше того! Мы не знаем, возможно, эти усилия противника увенчались успехом, и на одном из наших совершенно секретных предприятий орудует под личиной обычного советского человека предатель и враг. В каком из «ящиков», в какой службе агент противника действует (или начнет действовать в скором будущем) – такой информации мы не имеем. Поэтому принято решение сработать на опережение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Теперь Мясницкая.

2

От английского «веселый». Далее обыгрываются другие синонимы к этому слову.

3

От «marriage» (англ.) – женитьба.

4

Здесь масштаб цен указан до «хрущевской реформы» 1961 года.

5

Кто вы такие? Что вам нужно? (франц., болг.)

6

Меня зовут Мария Стоичкова. Я из Болгарии. Делегат.

7

– Пойдем. Ты где живешь? – Я живу в гостинице «Бурятия». Идем?

8

Это не мое одеяло. (болг.)

9

Об этих и других предшествующих событиях читайте в романе Анны и Сергея Литвиновых «Исповедь черного человека».

10

Гриф «ДСП» – для служебного пользования, самая низшая форма секретности для документов в делопроизводстве в СССР.

11

Стихи Юза Алешковского.

12

Стихи Геннадия Шпаликова.

13

Стихи Владимира Высоцкого.

Купить: https://tellnovel.com/litvinovy_anna/serdce-boga

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити